Юрий Ивлиев

Эхо из прошлого

Воспоминания бывшего беспризорника

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Эхо из прошлого» — воспоминания детских лет и юности Ивлиева Юрия Ивановича. В том числе и страшного времени Сталинградской битвы, посреди которой он оказался десятилетним мальчишкой.

- Эхо из прошлого
  -
  -
  - Счастливое детство
  - Война
  - Мирное время

Эхо из прошлого
Воспоминания бывшего беспризорника

Юрий Ивлиев

Редактор Иван Владимирович Лагунин

© Юрий Ивлиев, 2018

ISBN 978-5-4490-4068-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

«…Чтобы вспомнить какими мы были
загляните в семейный альбом…»

На «Радио России» работает «Немецкая Волна». Очень навязчиво просят: «А что Вы думаете о Германии? О немцах? Может быть, Вы все еще вспоминаете войну? Или Вас привлекает наш образ жизни? А может в Вас вызывает восхищение наши „Мерседесы“? Напишите нам!»

И я написал им и послал. То, что я послал им, это в начале моих записей. Судите сами. А дальше просто то, что сохранила моя память. Разрозненные воспоминания, с примерной датировкой.

«Сталинград. Август. 1942-й г. Мама берет меня с собой, едем в повозке. Навстречу идут, едут, едут, идут. Бесконечная толпа людей, скота, повозок. Жара, ветра нет. Пыль висит плотной завесой, оседая на лица, на повозки, на спины волов, лошадей. У нас с мамой рты завязаны платками. Небо вылиняло, ни облачка, только маленькое жгучее солнце и пыль. По обочине идут стада, коровы опустили головы к земле. Все это скрипит, мычит, шелестит, наполняя воздух каким-то особым шебуршащим звуком. Кажется, что это поет сама пыль. Размеренный однообразный шорох. Вдруг размеренный ритм нарушается. Все приходит в беспорядочное движение, усиливается крик, и вопль превращается в громко кричащий общий рот — „ВОЗДУХ!“, появляются три самолета. Они идут углом, низко над толпой, над нами, и поливают дорогу свинцом. По земле прыгают фонтанчики пыли. Сделав три захода со стрельбой, самолеты пролетают

последний раз с выключенными моторами, со зловещим свистом над растерзанной дорогой и скрываются за горизонтом. На земле валяются туши коров, лошадей, слышны человеческие стоны. Мне запомнилась женщина, лежащая на спине. Она раскинула руки и ноги, у нее вздымалась и опускалась грудь, пальцы рук сжимались в кулаки и разжимались, дергались ноги в конвульсиях. Головы не было, а из шеи текла черная кровь, образуя лужицу. Живые оттащили мертвых на обочину. Задние напирали на стоящих, объезжали их. Все снова пришло в движение. Снова скрип, шорох, пыль и жгучее солнце в зените».

«Сталинград. Октябрь. 1942-й год. (Или конец сентября). Нас, жителей Дар-Горы, немцы выгоняют из домов, собирают у кладбища и толпой гонят на Воропоново. Я потерялся от своей семьи и прибился к едва знакомой тете Соне. У нее на руках Санька, а за подол, ухватившись, семенит Файка. Ей семь лет, а Саньке месяцев шесть или восемь. Он все время орет. У тети Сони нет молока в грудах. Она дает ему сиську, Санька чмокнет пару раз, выплюнет сиську и снова орет. Мы перешли за переезд, вышли за поселок, где-то между Воропоново и Рогачиком это было. Нам не дают ни еды, ни воды. А Санька все орет и орет. Медленно переступая ногами, сбоку идет здоровый Немец-конвоир. Ему надоел, наверное, детским писк, он заходит в толпу, забирает у тети Сони Саньку. Отошел от дороги, бросил ребенка в кювет и наступил на тельце ботинком. Санька перестал пищать. У тети Сони глаза стали огромные, страшные. Бабы только ахнули и подхватили тетю Соню под руки. Немец снял с плеча винтовку и зло крикнул:

— Вег, вег! Русише швайне!

Ночевать нас расположили в степи. Конвойные устроились у костра возле повозки и лошадей, в стороне от нашей толпы. Я тихонько в темноте уполз в сторону и ушел обратно в город, меня не поймали».

«Сталинград. Ноябрь или декабрь 1942-й год. Около угла кирпичной развалины стоит немецкая полевая кухня. Воронка от авиабомбы, в нее сливают помои. Я кормлюсь из этой ямы, собираю картофельные очистки, мослы, корки-отскребыши из котла. Откуда-то из-за кухни появился немец:

— О, Русише швайне… — и что-то еще, мне непонятное, крикнул он.

Появился второй с автоматом в руках и фотоаппаратом. Наставил на меня автомат и с улыбкой дал очередь. Я брюхом вжался в помои, а на меня посыпалась земля. Немец что-то сердито закричал. Я приподнялся и сел, глядя на них со страхом, а это им и было надо. Немец сделал несколько снимков, бросил

мне в яму пару галет и они ушли за кухню. «Данке ШЕН, Фрицы». Я вылез из воронки и на трясущихся ногах уполз в свою нору».

«Сталинград. Апрель-май 1943-й год. Тюльпаны, тюльпаны! Тогда весной среди лома отгремевших боев было особенно буйной цветение степи. Всепобеждающее утверждение жизни над кровавой жестокостью человека. Понуро бредущая лошадка, качая головой и помахивая хвостом, лениво, на постромках, тащит к яме несколько вздувшихся трупов. Возле ямы ждут груз могильщики, мобилизованные пятнадцати-шестнадцатилетние девчушки и пареньки. Отцепив от крючьев мертвяков их сталкивали в ямы-воронки, траншеи, бункеры, все, что было вырыто в теле Матери-Земли. Все годилось для захоронения и заглаживания „оспин“ на ее лике. И красное море тюльпанов, колышущееся море тюльпанов!»

Вот это я и послал на «Немецкую Волну». В мае 43-го мне было десять лет. После этого стала просыпаться память, а в шестьдесят лет я начал что-то записывать, и после семи лет труда стало вырисовываться подобие детских «мемуаров». В годы воины мы дневников не писали, а память, память избирательная и, возможно, что что-то вспомнилось и не так, как было на самом деле.

В 1987-м году мне сослуживцы по работе подарили на день рождения годовой поквартальный еженедельник, подарочное издание с символом Сталинграда «Мамой Таней» на Мамаевом Кургане. Пролежал он у меня в книжном шкафу несколько лет — не было ему применения. На работе у меня двенадцатичасовая смена. Каждый час снимаешь показания приборов, сведения передаешь диспетчеру и снова целый час безделья. Читать надоедает, рукоделием не занимался. Перечитал я тогда массу мемуарной литературы о прошедшей войне, война та вошла в мою плоть и не вышла до нынешней поры. Сидит она во мне, проклятая, занозой. И хотя я перечитал много воспоминаний полководцев, политработников, героев тыла, но так и не нашел воспоминаний о детстве своих сверстников, а мы, дети войны, уходим, мы уже стали стариками и наш опыт тех дней уходит с нами безвозвратно.

Вот тогда-то я и решился записывать свои воспоминания о своем детстве в военные годы. Записывал все, что сохранила память, что пережил сам, и что слышал от своих сверстников в те, уже далекие, годы. А они, те рассказы, слились с моим, пережитым тогда, да так, что и отделить их одни от других уже невозможно. Оно, то время, наше общее, одно на всех. Жаль только то, что память мало отдает из своих тайников, а жизнь наша тогда не была однообразной, каждый прожитый день был

событийным! Пытался записать от дня рождения и до выпуска из Ремесленного Училища. (1933 — 1950 гг.)

Счастливое детство

Родился я 11-го января 1933-го года в станице Вознесенской, Семиреченского Войска Казачьего, но к моменту моего рождения данное административное наименование было уже упразднено и именовалось, как село Вознесеновка, Джувалынского района, Сыр-Дарьинского округа Казахской ССР. Мамуля моя — Волжская Казачка, Астраханка. Батюшка мой относил себя к Уральским Казакам. Всю же жизнь свою я прожил на землях Донского Казачества. Смесь получилась взрывоопасная, но что получилось — то и получилось.

Бабушка моя, тихая, милая, глубоко верующая не могла решиться с родителями-атеистами-комсомольцами идти в ссору и крестить внука, но и без крещения по вере своей не могла оставить его нехристем. Крестила меня моя Бабаня, тайно, в восьмимесячном возрасте. При крещении возникла очень забавная оказия, каким-то образом мне удалось ухватить за бороду батюшку-попа. Видимо я дюже осерчал, что мне не делали водной купели, а так небрежно побрызгали водицей, ну вот и решил потрепать попа за бороду — до носа, наверное, не мог дотянуться. Имя мне нарекли Георгий, а на реплику Бабани, что родители кличут младенца Юрием, поп гневно ответил, что такого имени нет, а есть Георгий! Да и поп на меня осерчал и сказал моей Бабане, что жизнь у меня будет разбойная, варначья и порядочного из меня ничего не выйдет. Тайное стало явным, и мои родители схлопотали по выговору от райкома комсомола, на том и завершилась эпопея моего крещения.

Столицу Семиреченского Войска Казачьего город Верный переименовали в Алма-Ату и сделали столицей Казахстана, а мои родители по призыву комсомола, превращали степном Казахстан в «цветущий сад».

1934-й год. Ослепительная яркая картинка в памяти. Белые, сверкающие пики гор, сочная зеленая трава. Я сижу в зембеле. Зембель за ручки несут двое самых-самых любимых — Папа и Мама. Мне Хорошо! Мне весело! И я пою? Мне сейчас пятьдесят пять, Маме семьдесят семь, я рассказываю ей это и спрашиваю — а было ли это? А она говорит, что помнить я этого не могу, так как меня годовалого увезли из Казахстана, это кто-то мне рассказывал, но мне этого никто не рассказывал, нет! Я просто помню это!

— Мама, так было ли это?… — настаиваю я.

— Наверное, было, мы ходили на базар в Алма-Ату и тебя таскали в зембеле, ты был тяжелый. Мы сажали тебя в кошелку

и несли, раскачивая, тебе это очень нравилось, и ты визжал от восторга…

1935-36-е гг. Мама рассказывала. Ехали мы из Москвы. Ночью я вылез из-под опеки Мамы и стал шастать по вагону. Где-то поднял с пола бумажник и сел возле Мамы играть, а бумажник был набит крупными купюрами. Мама проснулась, увидела меня, сидящего на полу и засыпанного деньгами. Ахнула и давай собирать и засовывать бумажки в бумажник. Документов там было, только деньги. Собрала и позвала проводника, указала на меня: «Нашел…» Пересчитали деньги. Сорок две тысячи. Просидели до утра. Утром проводница объявила о находке. Откликнулся один, небритый, опухший от пьянки вербовщик, ехал вербовать рабочих. Описал бумажник, назвал сумму, и, не поблагодарив никого, сунул деньги в карман. А мне даже конфетку не купил, хотя проводница ему прямо сказала и показала на меня, но он даже не посмотрел в мою сторону! Моя Мамулька всю жизнь сожалела, что отдала этому хаму мою находку!

— Если бы знала, что это такая неблагодарная харя, никогда, никогда, никогда не отдала бы ему «твои деньги»!

Не всегда, значит, честный поступок вызывает приятность в памяти.

1935-36-е гг. Может быть даже 37-38-е годы.

Скоро Рождество. Какими были в детстве праздники? Странно, но я не помню праздники, проведенные с родителями, хотя хорошо помню праздники с Бабаней. Как-то по весне гуляли с Папой в сквере. У Папы в карманах камни. Папа оглядывается, нет никого. Он достает из кармана камень и кидает его в окно церкви. Окна забраны фигурными решетками, а стекла цветные. Камни, брошенные Папой, разбивают стекла, некоторые камни попадают в переплеты решеток и отскакивают. Вокруг нет ни души. Церковь окружена деревьями и, перекидав все камни, мы, вдвоем с Папой, собираем осколки стекол. Помогая собирать разноцветные куски, я готов визжать от восторга, от разноцветия голубых, желтых, зеленых, красных стеклышек, от радости чего-то неизвестного. Дома Папа толкет стекла на мелкую крошку и посыпает крошкой обмазанную клеем картонную звезду. Звезда сияет всеми цветами радуги, переливается, искрится. Завтра Папа понесет меня на своих плечах на первомайскую демонстрацию, а я буду держать над головой самую красивую звезду. Из остатков крошки Папа изготовил калейдоскоп, и он был у нас очень долго, до самой войны.

Те же годы. Милая моя Бабаня взяла меня с собой в церковь. Наверное, был Пасхальный день. Сияло солнце, было тепло,

тянулся колокольный звон. Люди были все веселые, и все было так мило, радостно, торжественно. Церковь внутри сияла огнями свечей, ярко горели ризы икон. Одеяния священников, синеватый дымок благовоний, торжественное пение хора — все, все, все поднимало настроение! А мне запомнилось почему-то кладбище (наверное, у Казанской церкви) и склеп, сложений из красного кирпича, покрытый железом, массивные железные двери, закрытые на замок. Над склепом стоял ангел с крестом. Меня это больше всего поразило. Чугунный ангел и огромный узорчатый замок на двери. А за дверью, по словам Бабушки, стояли гробы с покойниками богатой семьи. Не мог я никак вразуметь, почему всех покойников закапывают в землю, а эти закрыты на замок, почему? Бабаня толковала мне, толковала, да все не могла объяснить, или я своим детским умишком не мог понять? Дедушка Ленин лежит, и его охраняют бойцы с ружьями, а тут замок. Ну почему не поставить бойцов с ружьями вместо замка? Вот было бы интересно смотреть на бойцов под ангелом с крестом.

Какое-то время мы жили в Средней Ахтубе. Мама и Папа преподавали в агромелиоративной школе, директором которой был Николай Трофимович Гринин. У Грининых было двое мальчишек-погодок, близкого мне возраста. Помню, играли. Я снимал панамку (тогда все дети носили панамки), насыпал в нее песок и пыль с дороги, и бросал вверх. Панамка падала и от удара об землю выбрасывала облачко пыли. В общем, для нас это были бомбы с аэроплана. Однажды такая бомба упала на голову одного из маленьких Гриненых. Я не помню их имен. В общем «взрыв бомбы» засыпал глаза. Слезы, крик. Брат увел с поля боя раненого в дом. Мать промыла сыну глаза, успокоила, и мальчишки снова пришли играть ко мне на улицу, ни какой паники! Редкая Мать отпустила бы свое дитятко тот же час!

Суббота. Идет мокрый снег. Пасмурно и светло. Серое небо и белая чистая земля. С грустью и улыбкой вспоминаю наш дом: высокое крыльцо, чистый, твердо убитый земляной пол — это сени, потолка нет. Поперек две балки, увешанные всякой всячиной: ременные вожжи, связки сухих яблок, ламповые стекла, веники. А высоко-высоко под крышей, между стропилами, заткнуто ружье. Настоящее — черный ствол, золотистый приклад. Я гляжу во все глаза. Мне так хочется подержать ружье в руках. Я тянусь ручонками к нему:

— Дайте, дайте, — говорит все мое маленькое тельце. Но слышу грубый голос:

— Нельзя, мал еще!

Меня обжигает обида! Горячая, резкая, как удар, обида. Я еще

не знаю, что буду большим. Весь мой мир — это я и окружающие меня Папа, Мама, Дяди и Тети. Я закусил губу. До крови закусил. Из глаз потекли слезы, молчаливые и обидные, горячие и злые. Это была моя самая первая обида, насколько я помню, потом были и другие, но это была самая первая!

— Мама, где это было и когда?

— Не знаю, мы тогда жили или в Фастово, или в Манкенте, тебе было годика три-четыре.

1936-й год. А я люблю лягушек. Я часами сижу у лужи и смотрю в ее зацветшую воду. Горячая земля, ласковое солнце, и теплая, теплая вода. А в зеленоватой воде плавают и мечутся дирижаблики-головастики. Лежат на дне на грязи и маленькие и большие. Потом появляются лягушата — маленькие с хвостиками. Я ловлю их и сажаю за пазуху под майку. Они такие забавные и холодные, ворочаются, копошатся у меня на животе, щекотно и смешно. Я хохочу, а большие тети ругаются: «Фу, какая гадость!…» Ну какая же это гадость? Такие веселые и шустрые холодные, когда на дворе такая жара. Я до сих пор люблю лягушек. Пусть их не любят другие!

Детский Сад. Катался на заднице с деревянной горки. В попу влезла огромная заноза-щепка. Боль ужасная, слезы сами текут ручьем, но я, стиснув зубы, молчу. Воспитательница вытаскивает занозу, а я молчу, больно, но молчу.

Убежал из садика домом. Шел и захотел какать. Штаны снять не сумел. Стою под деревом и плачу. Люди идут и не обращают на меня внимания. Мне и стыдно и неприятно — идти не могу. «…Бедное дитя, как же тебя мама-то бросила?…» — догадалась какая-то тетя. Завела домой к себе, подмыла, штаны и трусы постирала, покормила и пока одежка сохла, я уснул на диване. Потом тетя отвела меня домой. Получил нагоняй от Мамы, а мне весело. У меня есть хорошая знакомая Тетя.

Когда-то давно, я еще и в школу не ходил, мальчишки с улицы научили меня песенке, в общем-то, безобидной: «… Укусила Жучку Собачка, за больное место, за срачку. Стала Жучка пикать и плакать. Как я буду сикать и какать?…» Я исполнил этот куплет перед своим семейством и ожидал похвалы, но получил от Мамы вздрючку. Рано еще было собирать уличный фольклор.

У меня очень мало воспоминаний детства связанных с родителями. Воспитывала нас Бабаня, а Отец и Мать были вечно заняты на работе в разъездах по командировкам по Сталинградской области. Дома они бывали редко и мало уделяли нам внимания. Я даже читать научился не по букварю, а по «Закону Божьему» для начальных школ, дореволюционного издания, сохранившемуся у Бабани. Воспитывала меня и улица.

Спасибо ей за это, спасибо Родителям за свободу. Стал я тем, кем стал! Но выжил я в тяжкие годы войны благодаря улице. Она дала мне стойкость.

Играем в войну. У всех участников «сражений» имена героев Гражданской Войны. Кто постарше — тот Чапаев, Щорс, Котовский, есть и Петька, и Анка-пулеметчица. У малышни и слабаков Махно, Петлюра, Юденич. Мне по жребию дают имя «Колчак». Так уж выпало — обидно до слез. Я не хочу быть Колчаком, я не хочу играть в войну под этим именем! «Не буду!» Насупился, набычился, надул губы. А мне:

— Не хочешь — иди отсюда!

— Не пойду и играть не буду! — отвечаю я.

— Ну и не играй! А Колчак все равно будешь! И навсегда, раз ты такой противный…

— Ну и пусть…

Так я и остался Колчаком. В разные дни имена меняли по жребию по очереди. Так как уличные клички были практически у всех, то и мне с тех пор прилипла кликуха «Колчак». Раньше я был просто Юраш и Юраш, а из-за своего упрямства стал Колчаком. Сам виноват! Эта кличка продержалась до начала войны. В войну обрел кликуху «Серый». В ремеслухе кликуха была «Гений». Позже, когда стал собирать монеты, значки и марки — прозвали «Философ» — «Силосов» — «Силос» — окончательное. От кликух освободился только в Армии. Но самая первая — «Колчак», мне была ненавистна и особенно противна, но вида я не подавал и смиренно откликался на нее.

Мы, самые маленькие, играем в нашем подвале. Это пустырь, на пустыре яма, обложенная красным кирпичом с перегородками. Сам дом сгорел давно, подвал остался. Жильцы близлежащих домов сваливают с сюда мусор, дохлых кошек. Кошек мы хороним в дальней комнате, там у нас кладбище. В передней играем. Изредка появляется женщина со страшными глазами. Она прижимает к груди всевозможные бумажки, которые собирает на улице и бормочет: «Деньги, мои деньги…» Мы боимся ее и убегаем. Бабаня говорит, что она убогонькая, бог лишил ее разума за грехи. Молодые говорят короче — дурочка. Старшие мальчишки подкрадываются сзади и, изловчившись, выбивают у нее из рук груду бумажек. Ветер разносит их, но она не замечает этого и продолжает собирать новые, бормоча при этом «деньги, деньги, мои деньги». Однажды в нашем подвале обвалилась часть стены, и среди мокрых кирпичей обнаружился литой чугунный кувшин с красивым узором из цветов и листьев. С ручкой и крышкой. От удара при падении крышка открылась

и из кувшина вытекла струя золотых монет. Обычно мы целыми днями играем одни, а тут оказались в толпе взрослых. Давка, крики, ругань. Я от страха в суматохе сунул одну денежку в рот. То ли я ее потерял, то ли я ее проглотил. Рассказал об этом Бабане, она меня дня три-четыре не выпускала на улицу, и я сидел на горшке. Нашла ли она эту монетку, я не знаю. Мы потом долго играли этим кувшином, внутри он был обклеен зеленым бархатом.

Солнце только встает. Асфальт блестит умытый утренними поливальщиками. Я бегу, чтобы первым успеть к яме на задворках кинотеатра, туда после сеанса уборщицы выбрасывают мусор. Самое важное успеть первому. Ах, как восхитительно пахнут обрывки кинолент, это такое богатство в мальчишеской среде! Набрал много обрывков и склеек — есть чем меняться с ребятами, еще нашел красненькую с портретом Ленина, тридцатка! Хвастаюсь маме:

— Смотри, Мама, какую я денежку нашел!

— Молодец, только зачем она тебе? Давай меняться? Я тебе дам с летчиком, ты же любишь аэропланы…

Я в восторге. Так я разменялся с Мамой 30 рублей на 5 рублей. Потом еще раз поменялся на бойца с винтовкой, т.е. на трешницу, потом и эту отдал, я тогда был еще неграмотным.

Летом 1938-го года еду к тете Маруси в гости на лето. Ветка тупиковая, дальше Урюпинска линии нет. Не доезжая до города, тетя Маня подсаживает меня к окну и говорит: «Смотри, тут было крушение поезда…» Вижу лежащие под откосом искореженные остовы вагонов. Грохнулся пассажирский, было много жертв.

Тетя Маня живет на первом этаже. Дом старинный, низы из кирпича, а верх рубленный — деревянный. На втором этаже живет девчонка, она выходит на балкон и дразнит меня. Я отвечаю ей тоже дразнилкой. Она злится и, схватив полено, бросает в меня, да так удачно, что мне прямо по голове, я в рев. Нет, не от боли, боли-то нет, а от обиды. Тетя Маня дает мне конфетку, и я успокаиваюсь.

Копаемся за сараем в земле. Из-под стены выкапываем чугунную плошку, а в плошке туго связанная пачка денег с портретом Петра Первого. Делим между собой купюры, между дворовой детворой, а плошку тетя Маня забирает домой. Плошка хорошая, внутри облитая голубой эмалью, и крышка закрывается плотно, она тоже эмалированная. Долго она была у нас, до самой войны. Бабаня в ней тушила мясо.

В соседнем дворе под крыльцом сука ощенилась. Здоровая и злая дворняга. Щенков не показывает и рычит на всех. Куда-то ушла, а меня дворовые ребятишки подбивают произвести выемку

щенков. Я залез под крыльцо и по одному доставал, подавал их ребятам, потом вылез сам, а мне кутенка не досталось, я в рев — где мой кутенок? Но тут вернулась мама щенков и подняла страшный вой и лай. Ребятня щенков побросали и в бега. Сучка стала собирать свое потомство и затаскивать в логово. Если бы она захватила меня под крыльцом с ее кутятами, наверное, порвала бы меня.

С одним мальчиком убегаем со двора. Он меня ведет на «балласт» — так в Урюпинске называют песчаный карьер. Песок грузят на железнодорожные платформы и увозят. Мы сидим наверху карьера и смотрим — там внизу бегают маленькие паровозики и суетятся люди, как муравьи. Я тогда нашел «чертов палец», еще не зная, что он так называется. Лето, жара, пахнет мазутом и горелым углем. Я часто убегал, не слушался Тетю, и Тетя решила отправить меня домой к Бабане. Когда мы ехали поездом в Сталинград, с нами в купе ехал краснофлотец из отпуска. Он мне подарил звезду с бескозырки — мальчишеское счастье!

Мне в Урюпинске было запрещено ходить на р. Хопер одному, без тети Мани. Жара, песок. Кавалеристы купают коней. Лошади большие, блестящие, фыркают, ржут, кавалеристы весело гогочут. Эх, хорошо! Как хочется подойти и погладить боевого коня, но боюсь и стесняюсь, потом все-таки подошел поближе. Стою, засунув палец в нос.

— Эй, дядя, смотри, палец сломаешь. — Это они мне. Отрицательно качаю головой:

— Нее…

— Покататься хочешь?

Я онемел от неожиданности.

— Что молчишь? Боишься?

— Не боюсь, хочу!

Дядя кавалерист хватает меня и сажает на круп коня, конь поворачивает голову и смотрит на меня фиолетовым глазом, потом медленно, медленно идет в воду. Дядя с поводьями в руках идет рядом. Конь зашел в воду, фыркнул и поплыл, сделав круг, выходит на берег. Дяденька ссаживает меня и, дав легкий шлепок по попке, подталкивает к тете Мане. Я счастлив до безумия, рот до ушей, глаза сияют. Не могу вымолвить ни слова. Мария Петровна Николаева, моя тетя, была замужем за командиром-конником, он трагически погиб, как — не знаю, вроде случайный выстрел. В Урюпинске было какое-то военное кавучилище, там и служил муж моей тети. Марию Петровну курсанты знали, поэтому и ее племянника катали на боевых конях. (Мне так кажется, что других мальчишек не катали, я такого что-то

не припоминаю.)

Как-то Тетя Маруся вывела меня на прогулку, гуляем в саду. Где этот сад я не могу вспомнить, то ли в пойме Царицы, то ли это Лапшин Сад, а может в Урюпинске или в Средней Ахтубе. Собственно неважно где. Яблони усыпаны плодами, люди собирают плоды и грузят их на подводы. Жаркий звенящий день осени. И вдруг резкий порыв холодного ветра. Черная туча. Короткий злой ливень. Небо исполосовано молниями. Оглушительный грохот громовых раскатов. Мне страшно. Я уткнулся в колени Тети, она накрыла меня юбкой, а мне все равно страшно. Трясусь всем своим маленьким тельцем. Гроза также неожиданно прошла, как и началась. Идем домой, неся в руках обувь и шлепая босыми ногами по искрящимся лужам.

Туча мальчишек. И все мы бежим, бежим, бежим. Я самый маленький, бегу позади всех. Добежал. Стена детворы. Протискиваюсь, пролазию между ног. И вот я впереди. Передо мной аэроплан, он только что сел. Два дяденьки-летчика в меховых одеждах в шлемах с очками — или ранняя весна или поздняя осень. Я закутан и обвязан шарфом. Пилоты что-то делают, я от восторга увиденным сосу палец, широко распахнув глазенки, а дяденьки, покуривая, разговаривают, не обращая на нас внимания. Вдруг один из пилотов подходит к нам, останавливается прямо против меня, присаживается на корточки и спрашивает меня:

— Будешь летчиком?

— Да, я буду летчиком! — отвечаю я твердо и уверенно.

— Не боишься?

— Нет, я храбрый.

— Молодец!

Он берет меня по мышки, точь-в-точь, как мой папа, и, сделав пару шагов, сажает меня в кабину на пилотское сидение. Надо мной далеко-далеко небо, улыбающееся лицо летчика, напротив меня приборная доска и штурвал.

— Ну вот, теперь ты настоящий летчик полетишь с нами?

— Да, я теперь летчик и полечу с вами! Только Маме надо сказать, а то заругается.

— Ладно, полетишь с нами в другой раз, когда мы прилетим еще, лады?

— Лады.

Он поднимает меня, ставит на землю и говорит:

— Беги к Маме домой…

И я бегу! Стена детворы расступается, и меня провожают десятки завистливых ребяческих глаз. Как мало надо для детского счастья, минута в кабине самолета и ты… Вбегаю в дом:

— Мама, Мама! Я на ероплане катался, дядя летчик сказал, что я настоящий летчик и завтра полечу с ними…

— И когда, и где врать научился? — говорит мне Мама с сердцем и раздражением.

Меня обжигает обида:

— Я не вру, не вру, не вру… — Плачу навзрыд, плачь переходит в истерику. Бабаня с трудом успокаивает меня. А к вечеру вся улица говорит, как Юрку на ероплане катали. Мама говорит мне:

— Прости сын… — и я снова счастлив.

Летчики так больше и не прилетали, но я долго ходил на место моего короткого счастья и все ждал и ждал их.

Летчиком я не стал, хотя пришлось малость поработать в 231-м и 5-м авиаотрядах СКТУ и ДВТУ ГВФ. А в памяти так и остались эти самые счастливые минуты детства. И хотя я работал техником ОСИ, но в кабины пилотов все же приходилось заглядывать, хотя я и не имел на то права!

Я часто гулял за городом в степи, а степь начиналась за окнами Бабаниного дома. Домик стоял окнами в бескрайность мальчишеского взора. Там, в этой бескрайности была таинственная неизвестность, и в жарком переливающемся мареве можно было увидеть ВСЕ! В степи я и нашел винтовочную гильзу и огромную медную гайку. Гильзу положил в карман, а гайку несу в руке. Она такая большая, что не помещается в ладошке, тяжелая золотистая и очень, очень красивая. Я долго дружил с этой гайкой и почему-то думал, что она от подводной лодки. Я и сейчас ее помню и ощущаю ее тяжесть, ее тепло. Я даже спал с ней. А гильзу я потерял тогда же и без жалости. Я бы и не вспомнил о гильзе, если бы не и нашел их вместе.

Мы с приятелем частенько убегаем из детсада, но степь нас уже мало привлекает. Мы нашли другое место, более интересное — на кладбище за тюрьмой! Видно как по мосту через Царицу идут поезда и грузовые, и пассажирские, можно увидеть, как рабочие проезжают на дрезине и пробегают маневровые «кукушки». Мы сидим на могилке с кованым ажурным крестом и наблюдаем, как учатся красноармейцы, у бойцов очень красивая форма. Ах, как хочется прикоснуться к ружью! Однажды мне улыбнулось счастье. Бойцы разбежались и попрятались за могилки, и один из них укрылся за нашей могилкой. Он дал нам погладить приклад и даже разрешил подергать за затвор. Бойцы построились и ушли, а мы сидим и смотрим на железнодорожный мост — кто угадает какой пойдет поезд.

Я, по-моему, еще не ходил в школу, а Папа взял меня с собой. Едем на бричке-одноконке, Папа понукает лошадь, чмокая

губами, я всю дорогу пытаюсь научиться, подражая Папе — не получается, не научился! Приехали на плантацию. Растут всякие овощи. Заведующий угощает нас. Нарезали огромное блюдо помидоров с луком, чесноком и огурцами, полили маслом, посолили и сели прямо на траве. Папа из веточек нарезал вилки-рогалики. Я сижу вместе со взрослыми и ем из общего блюда. Ох, и вкуснотища же! Деревянной вилкой стараюсь подцепить аппетитный ломтик помидора. А хлебушек? Как у Бабани, на капустном листе домашний, ржаной, подовой, но… все-таки вкуснее, чем у Бабани. Вот и запомнилась эта поездка именно из-за вилки-веточки.

В далеком детстве был праздник, когда варили холодец. В каждой ножке была косточка-альчик, а это было огромное богатство в нашем мире. Сейчас игра в альцы забыта. Правила этой игры я уже не помню. Мы играли в альчики целыми днями, и у каждого было в запасе дома несколько десятков альцов на игру. Зимой играли в казанки-бабки. Взрослые парни играли на деньги, мы же, малышня, играли на альчики или на казанки, стараясь выиграть у противника его запасы. Это богатство переходило из рук в руки, но мы знали свои и старались отыграть в первую очередь свои, если шла удача. Мне до сих пор непонятно, каким образом из десятков косточек, мы узнавали свои, проигранные когда-то в прежних играх. Альчик подбрасывали вверх двумя пальцами, создавая кручение в воздухе. Альчик падал на ровную, мягкую песчаную площадку и в зависимости от его положения набирались очки. Чика и чек, рыка и рез, буза и баз. В казанки играть было проще, нужен был меткий бросок. Казанки устанавливались в ряд на десять-пятнадцать шагов и битой-казанкой, залитой свинцом, старались выбить казанки из ряда партнера.

Мои партнеры по казанкам и альчикам уже ушли из этой жизни и спят вечным сном, обретя покой. Я пережил всех, а для какой цели меня хранит судьба — не знаю! В меня стреляли Русские и Немцы, на мою голову сыпали снаряды, мины, бомбы и те и другие. Меня били торговки на базарах, били милиционеры, били почти каждый день и били за то, что я хотел есть, а есть хотелось постоянно, и на яву и во сне! Страшное чувство голода и мечта наестся досыта хоть раз и умереть! Кто сможет понять весь ужас нашего военного детства, не имея нашего пережитого опыта? Ну-ка попробуйте пережить: вдохнув фонтанчик пыли у носа от пули, выпущенной в тебя с вышки нашим Советским солдатом, ты ползешь к колючей проволоке за куском хлеба. И тебе этот кусок бросают военнопленные Немцы из-за ограды лагеря. Правда, смешно сейчас слышать

об этом? Да? Но это было, было! И этого из памяти не убрать никогда!

Дело было зимой. На санках катался целый день. Легкий морозец, солнце. Деревья все опушены инеем — белые, лохматые. Все сверкает, даже на ресницах блестки. Ну, я и мотался с ребятней на извозе — с обрыва на берегу. Варежки мокрые, парят, и не заметил, как перемерз, морозец-то закрепчал. Мокрые варежки задубели, веревка-поводок от санок стала как кол, не гнется. Домой, домой! А рук уже не чувствую. Еле-еле добрался до дома. Ввалился, а раздеться уже не могу. Бабаня срезала пуговицы, сняли с меня задубелую одежду, руки сунули в холодную воду и стала оттирать. Боль страшная, аж сердце заходит, ору диким голосом. Мало-помалу отошел, а дома забили поросенка. Бабушка напекла пирогов с ливером, горячие ароматные — вкуснятина, ух! А взять в руки не могу, руки распухли. Так и ем, как чушка, прямо носом с тарелки; откушу, а Бабаня подвигает кусок пирога к краю тарелки, так и доел. Бокал горячего чая держу двумя запястьями. Руки остались целы, а мог бы и калекой остаться, повремени еще с полчасика на катании. В другой раз отморозил ухо. Было тепло, шел мокрый снег, мне в левое ухо снега и набило, а я и не почувствовал. Наутро ухо висело до плеча, и было желто-прозрачное, налитое водой и огромное. Бабаня мазала мне ухо гусиным жиром. Ухо осталось цело, а могло и отвалиться. После, когда опухоль сошла, ухо было покрыто черной коростой, и очень медленно эта корка сходила, а когда сошла, то ухо было нежно-розовым и совсем не терпело холода, ни малейшего. И мне пришлось ходить с опущенными ушами малахая.

В детстве я любил уединение. Помню, между сараем и уборной был прогал. В этом промежутке я сделал себе логово-шалаш. Нарубил на пустыре будыльев бурьяна, притащил из степи здоровый шар перекати-поля, и этот шар стал у меня дверью. В этом-то логове я иногда мог пролежать даже целый день и вытащить меня на обед был весьма проблематично. Жара и нет аппетита. Как-то Бабушка попросила папу сделать корытце для корма курей, мы держали до войны десять-пятнадцать кур во главе с петухом. Отец долго строгал, пилил, стучал молотком, наконец, сделал. Бабушка вышла, посмотрела, осуждающе покачала головой: «Из этого корыта отару овец поить можно. Экую орясину сгондобил, ну право гроб для покойника…» Бабаня ушла в дом, а я вылез из своего шалаша, подошел к корыту, посмотрел на него, потом влез в корыто, снял штаны и насрал. Застегнул штанишки, привел себя порядок и с чувством исполненного долга удалился в свое убежище. Там, дома,

Бабушка рассказала Маме про корыто, и они вдвоем допекли моего Отца его несуразным изделием, Отец психанул: «На вас никогда не угодишь, что не сделаешь — все не так, все плохо!» Схватил топор и вышел во двор с намерением сокрушить свое изделие. Подошел к корыту и остолбенел, пораженный увиденным. Это переполнило его чашу терпения. Отшвырнув в сторону мою дверь-перекати-поле, схватил меня за ногу, выволок из моего убежища. Подтащив меня к корыту, ухватил за уши и стал носом окунать меня в мое собственное говно, свеженькое и тепленькое. Удивительно, но мне не было противно, не было больно, не было обидно — мне было смешно, я исходил от хохота, а он, мой Папа, все больше и больше свирепел. Чем бы это все кончилось, не знаю, но во двор выбежали все: Бабаня, Мама, Тетя Маруся и, конечно, Надька (сестра). Вой и визг были громкие, но вот меня отняли, обмыли, обласкали и закормили лакомствами. Даже Надька подарила мне свою самую любимую куклу, правда потом она ее тихонько забрала. А я в куклы не играл и не особо расстроился! Пусть. А корыто так и осталось жить до самой войны. Бабушка в него сыпала корм курам.

Когда и почему мне дали кличку «Серый»? Не помню и не знаю. Я был злым и не давал себя в обиду. Старше, сильнее, для меня не имело значения. Я лез в драку, меня били, а я кусался, царапался, мог и куском кирпича погладить по темечку. Был случай, когда большие парни ради забавы стравили меня с более рослым и более сильным пацаном. Я бился с ним не на жизнь, а на смерть! Я весь измазался кровью из носа, измазал противника, но добился победы, противник отступил! Парни похвалили меня: «…Ну, прямо волчонок, вырастит — зверем будет, волком серым…» Может тогда прилипла ко мне эта кликуха? Ходил ли я тогда в школу? Не помню, может и ходил в первый класс? Может!

Перед самой войной, я вроде бы еще и в школу не ходил, у нас появилась женщина с двумя мальчиками. За лето слепили землянушку на откосе Царицы, а сами жили в квартирантах у дяди Толи Норвега. Подружиться мы еще не успели, но общались с этими мальчишками. Эти ребята, не в пример нам, были воспитанными и очень много знали — кто, где, когда и что. На вопрос, где Папа, Мама — односложно отвечали — мы сироты, живем с Бабушкой, но в других вопросах они были выше нас на целую голову. В 1940-м году я пошел в первый класс, а «Гора» (так кличили младшего из ребят) учился во втором, его брат Виктор учился в четвертом. Жили они очень бедно, Бабка их работала по людям. На производство ее не брали, хотя она была очень грамотной. Потом просочились слухи, что их родители

враги народа и сидят в тюрьме, хотя я этому сейчас не верю, им бы не разрешили жить в Сталинграде. В общем, таинственность привязывала меня к ним больше, хотя другие их сторонились. Я набивался к ним в друзья, а они сторонились всех. Так мы и жили до войны. Потом призвали наших отцов, мы их проводили на фронт и как-то незаметно сравнялись по положению. Пришли Немцы. Где они перебивались грозовые дни — не знаю. Наверное, в 44-м ребят забрали у Бабки в детдом, а сама Бабушка как-то быстро постарела, сгорбилась. Жила очень трудно и умерла, наверно, в 1947—48-м г. Конечно, мы знали о Тимуре с командой и Мишке Квакине, но Тимур нас не привлекал и высмеивался нами как чистоплюй. Мы, дворовая ребятня, дрались, хулиганили, курили и воровали и Квакин, конечно, был из нашей компании. А вот Горкиной Бабке мы помогали, хотя себя Тимуровцами не считали. Носили ей воду, доставали уголь, помогали с дровами. Подкармливали ее и соседи. Жалели. Военное лихолетье сближало людей. Потом уже, после войны, как-то на ветке Камышин — Мичуринск я встретил в поезде Горку, он ехал в Сталинград (из детдома) в Ремесленное училище. Я в то время еще бегал по воле, т.е. воровал по поездам. С Горкой мы встретились радостно, как родные. Я ему рассказал все о его Бабке и как мы всей дворовой кодлой помогали ей. В Камышине мы расстались, чтобы уже никогда не встретиться. При расставании Горка показал мне свой кулак: «Помнишь?» Да, я помню. На кулаке имя «Гора» обвито толстой синей змеей. Я помню. Это была моя работа. Весной 1943-го года я нажег резины и копотью замешенной на Горкиной моче, сделал ему наколку на тыльной стороне ладони. До сих пор, проезжая в городском транспорте, я смотрю на мужские кулаки, сжимающие поручни — а вдруг увижу синюю змею обвивающую имя «Гора». При последней нашей встрече мне было 13 лет, Горке 14. Завтра мне исполнится 60, я стал еще на год старее. А где мои мальчишки войны?

Перед самой войной с Шуркой нашли в степи снаряд. Ржавый. Наверное, еще с Гражданской. Таскали его, таскали, думали, что с ним делать? Бросить жалко, уж больно вещь хорошая! Либо сами додумались, или кто надоумил — развели костер на пустыре, и закатили туда снаряд. Скомандовали: «Бежим!» — и побежали, а малышня наша — Женька, Ленька и Надька уселись у огня и подкладывают в костер щепки, палки, будыли; мы с Шуркой осипли от крика, сорвали голоса, нам страшно идти к костру, а детвора на нас ноль внимания и нам страшно за них. На счастье шел какой-то мужчина, раскидал и затоптал огонь, наш снаряд откатил в сторону и потом забрал

его с собой, снаряд еще не успел нагреться.

Откуда на дороге столько гвоздей? Миня-Запупыня достал где-то огромный магнит, привязал его на веревочку и ходит по дороге, таская за собой на буксире. Пройдя метров сто, собирает с магнита гвозди — ржавые, горелые, а есть и прямо новые совсем. Так постепенно он обходит нашу улицу, собрав гвозди с нашей улице и рассортировав их, затем переходит на соседнюю улицу, но ребята ему не дали просто так собирать их гвозди. Отобрали магнит и прогнали, и пришлось Мине магнит выкупать, хотя он пытался их разжалобить. Плакал и говорил, что гвозди ему нужны для гроба — скоро его папаня помрет, и он будет делать ему домовину. Отец его лежал дома, худой и желтый, тяжело и нудно кашлял, сплевывая в таз. Осенью 1941-го года он помер, лежал на столе в белой рубахе и со свечкой в руках, а на лбу у него была лента с молитвой. Мы ходили гуртом посмотреть и попрощаться. С Миней ходили на рыбалку, поймали нет ничего, по паре тарашек. Шли домой, я что-то рассказывал Миньке. Повернул голову, а Миньки нет. Обернулся, а он отстал и жрет сырую рыбу, говорю ему удивленно:

— Минька, ты что? Сырую ешь?

— Ага, а то Мамка дома коту рыбу скормит, а мне жалко. Пусть кот мышей жрет, я же мышей есть не буду…

А мне рыбы коту не жалко, пусть лопает и мышей и рыбу. В другой раз мы рыбу домой не понесли. Пойманную рыбешку завернули в лопухи и обмазали грязью. Выкопали ямку, уложили туда рыбу и развели костер. Когда палки прогорели, мы уголья разгребли и достали запеченную рыбку. Вкусненькая, нежненькая. Не помню, где я подсмотрел этот способ готовки, но научил Миньку. Жалко мне его было, что жрать сырую-то? Пусть ест печеную,

Недалеко от нас живут две старушки, их зовут монашками. Домик маленький, игрушечный, чистенький и весь в цветах, в уюте. Во дворе тоже цветник, засаженный невиданными мной растениями. Я приходил к ним в гости довольно часто, и хотя они все делали с молитвой, мне нравилось бывать у них. Пить душистый травяной чай и слушать их рассказы о растениях. Тогда я впервые узнал, что растения умеют разговаривать и умеют слушать, и хотя не верил в такое, но слушать было интересно, однажды они угостили меня диковиной штуковиной. Плодик поболе грецкого ореха, но чуть меньше мандарина красный, как помидор, и семечки, как у помидора, только мелкие. Вкусом — кисло-сладкий, особенный, незабываемый. Только раз в жизни мне пришлось скушать такую диковинку, и больше я не видел и не слышал о подобных фруктах. Сам плодик растет закрытый

в остроконечную скорлупу. Хвостик, острые носики, шестигранная коробочка.

Лето. Белый горячий сыпучий песок, теплая вода. Папа, Мама, я, Папин приятель со своей тетей, все мы отдыхаем на реке. Мне надоела возня в лягушатнике на мелководье, и я хожу за двумя взрослыми парнями. Они с бреднем ходят вдоль берега, а на берег выбрасывают клочья тины, ракушки, разную дрянь и много мальков. Парни вытряхивают бредень на песок и снова идут в заброд. Мне жалко мальков, я собираю их и выпускаю в воду. Парням надоело это занятие они сели и закурили, я стою рядом. Подходит старик и, показывая пальцем, говорит:

— Забредите вон там, там яма.

Парни отмахиваются, им надоело, жара, лень. Подходит мой Папа и просит:

— Ребята, дайте бредешок, побалуемся.

— Возьмите, побродите…

— Рыба пополам?… — спрашивает Папа.

— Возьмите всю себе, а вот этому пацану — показывает на меня — самую большую…

И весело смеются. Папа берет бредень и с приятелем начинают бродить. И снова тина, ракушки, разная дрянь и мальки, я снова собираю мальков и отпускаю их в воду. Снова подходит старик и снова показывает, где надо бродить. Папа с дяденькой забредают в указанное место, там глубоко и дяденька тянет бредень вплавь. Дяденька и Папа переглядываются и быстро идут к берегу. В мотне бредня бьется огромная рыбина — золотистый сазан! Я визжу от восторга, сбегаются пляжники. Охают, ахают, хозяева бредня стоят, раскрыв рты. А я кричу:

— Моя рыба, моя рыба, она самая большая, моя большая рыба!

Наши укладывают сазана в зембель, рыбина заняла все пространство кошелки, голова и махалка торчат наружу. Вечером пир горой. Бабаня нажарила сазана и в жаровне лежат золотистые куски, источая аппетитный аромат. Две семьи не могут управиться с моей рыбиной. Это был первый удачным улов в моей жизни.

Какое было у меня 1-е сентября 1940-го года? Первый раз в первый класс. В школу меня провожала тетя Маня, родители были в командировке. Первый день запомнился курьезом, одна упитанная крупная девочка описилась в классе, не смела попроситься выйти. Я уже не помню своих первоклашек. Потому что провели мы вместе, всего только один лишь год. На второй год наш класс основательно разбавили беженцами, да и еще

перевели в другую школу, соединив два класса. Во многих школах открылись военные госпитали и нас уплотнили, что делать война! Да, война страшная, жестокая и безжалостная! Когда пришел первый раз во второй класс, в школе не было обычной суеты и шума. В школе стояла напряженная и тревожная тишина. У многих отцы уже были призваны, а кое-кто уже получил похоронки. В общем, настроение было подавленное. В центральной газете на первой странице фотоснимок: убитый мальчик, а изо рта струйка крови. Мой Папа еще дома, но скоро и я буду провожать его на войну. Останусь один «мужчина» в семье. Курить я уже умею, оденусь в немецкие обноски, завшивлюсь и научусь воровать. Второй класс сохранил как-то больше в памяти лица, но не имена. А из первого класса помню очень мало ребят — многие вскоре уехали в Сибирь и в деревни. Жить стало сразу труднее. А вот третий класс уже с годовалым перерывом и все чужие.

Война

Началась война. Казалось бы, такое событие должно оставить в памяти яркий немеркнущий след, но увы… тусклая, едва заметная полоска памяти. Утром, схватив по куску хлеба, убежали на Волгу. А Папа в этот день, еще затемно, уехал на огород окучивать картошку. Приехал часа в четыре вечера, поставил ведро вверх дном, сел на него, упер локти в колени, положил подбородок на ладони и сказал: «Ну, вот и все. Отжили свое…» Таким я и запомнил этот день, день начала войны: отец сидит на ведре посреди двора, у ног его лежит мотыга. Потом я увидел сон: с Папой иду по редколесью, кусты-деревья в рост человека и гроздья крылышек-семян на ветках. Папа в коричневом костюме-тройке. И вот Папа отдаляется от меня, я вижу расстегнутый пиджак, жилетку — все это закрывается туманом, все дальше и дальше уходит видение, лицо Отца… Лицо, фигура теряют очертания в дымке. Я кричу: «Папа, Папа!» А Папа тает, тает, тает. И тут кукушка прокуковала четыре раза: «Ку-Ку, Ку-Ку, Ку-Ку, Ку-Ку!…» Я проснулся. Сон яркий, цветной. Я помню его и сейчас, как будто только что проснулся. Я рассказал свой сон домашним, а соседка-гадалка сказала: «Отец будет жив и вернется домой через четыре года…» Так и произошло в яви.

21-го июня 1991-го года. Сегодня год как нет Отца. 13-го сентября 1941-го года я провожал его на фронт. На вокзале стоял Великий Плач! Голосили бабы, выли старухи, кричали дети. Такого я никогда больше не слышал в своей жизни и не видел! Но вот прозвенел последний удар станционного колокола, крик всколыхнулся, поднялся ввысь и забился вдоль тронувшегося состава. Эшелон, покачиваясь на рельсовых стыках, на стрелках, извиваясь на переходах, уходил в страшное неизвестное, в войну. Он увез наших родных, оставив нам надежду. Лето прошло, но было солнечно и жарко. Летела паутина, блестя на солнце серебряными нитями. Мы ловили ее и сматывали в бобины. Последние забавы из отнятого детства. Через год на нас высыплют тон мин, снарядов, авиабомб. Наш город останется только на географических картах и в нашей памяти. Погибнут уехавшие на фронт, погибнут оставшиеся дома от случайных ран, перемрут от голода, от тифа. А мы, оставшиеся в живых, отупевшие и одичавшие, будем думать о куске хлеба, и ждать, и надеяться.

Август-сентябрь 1941-го. В степи разбился самолет У-2 — «Кукурузник». Он все крутился, крутился, всякие штучки-дрючки

выпендюривая в воздухе, а потом клюнул носом и пошел к земле. Мы сразу бегом, аж дух захватывало, но, когда подбегали, там уже стоял милиционер и ни кого не подпускал близко. Потом приехали бойцы, подтащили мертвого летчика к разбитому самолету, прикрыли его брезентом. Оставили часового и уехали. Нам с Санькой очень нужен был пистолет. Мы все ползли и ползли к самолету, чтобы стащить пистолет у мертвого летчика. (А был ли у него пистолет?) Но боец нас заметил и, заорав дурным голосом, клацнул затвором и бахнул вверх. Мы вскочили и бросились бежать, но решили, как стемнеет попытаться снова, но увы… пришла машина, летчика погрузили, что-то еще кинули в кузов. Потом пришла еще машина. Механики повозились, повозились, перевернули самолет на колеса, прицепили его на буксир, погрузили обломки и уехали. На земле остались кусочки фанеры, целлулоида, масленые лужицы и специфический запах самолета. Пистолет нам украсть не удалось.

Нас рассадили по разным партам. Мне в соседки досталась девчонка, причем самая красивая в классе. Эмма Кауфман, я запомнил ее из всех девчат второклассников. Нас ведь рассаживали к примерным с надеждой на искоренение хулиганства, причем самым оголтелым хулиганам доставались и самые примерные ученицы. Эмма не пыталась меня перевоспитывать нотациями, одергиванием, нет, она вела себя совершенно равнодушно к моим «героическим» выходкам. И, в общем-то, мы ладили без моралистики, просто она вела себя со мной как со своей подругой — неплохой подружкой, только не совсем умной, так с придурью малость. Так… В классе идет проверка на вшивость. Санитарный врач проверяет белье, я заглядываю в свою рубашку и… О ужас! Ползет внутри огромная, с дворнягу, вошище! Я пытаюсь ее спихнуть вниз с полотна рубашки, но он упрямо ползет вверх, а врач от нас уже через парту. Эмма спрашивает:

— Есть?

— Ага, — обреченно киваю головой.

Чтобы отвлечь внимание, Эмка что-то затевает, не помню что, но под шумок мне удается спихнуть опасную квартирантку на пол и придавить ее ботинком. Саносмотр прошел благополучно, в классе вшей нет, хотя весь класс чешется. Врач ушла, и урок идет своим чередом. И вдруг крик: «Клара Францевна, у меня по фуражке ползет вошь!» Это кричит Петька, сосед через проход, сидит рядом. Я завидовал ему, его фуражке. У него брат пограничник и подарил ему форменную фуражку — и вот на фуражке вши! Мы все вскочили, и кидаемся смотреть, как будто никто и никогда не видел вшей! Клара Францевна еле

успокаивает класс и с трудом продолжает урок. Фамилию Петьки я не помню, но кликуха «Петька Вошь» так и прилипла к нему. Вскоре из класса исчезает моя соседка по парте Эмма, потом и наша учительница Клара Францевна, подчищают всех немецкой национальности и куда-то увозят. Говорят, что вывезли всех Немцев Поволжье.

Осень. У Бабани квартируют военные. Мне интересно и я верчусь «под ногами». Ежедневно изымают и свозят на склад немецкое оружие, его много среди наших немцев — готовили удар в спину. С Серегой решили завтра в школу не идти, а посмотреть на собранное оружие. Я притаились в кустах, метрах в двадцати. Разгружают машину. В навал автоматы, карабины, пулеметы, ящики с боеприпасами. Оружие диковинное, на наше не похожее. Воина еще где-то далеко, а мы уже видели оружие врага и видели только мы вдвоем с Серегой. Рассказываем, а ребята смотрят нам в рот, завидуют. А я все не могу понять, как могла моя соседка Эмка ударить мне в спину. Ведь она мне искренне помогала во всем.

С Ванькой Горохом решили бежать из дома на фронт — бить немцев! Школьный обед, что дает Мать с собой в школу, не едим, сушим сухари. Собрали запас. Вот этот день наступил, идем на вокзал и крутимся у товарняков. Присмотрели тормозную площадку в середине состава и ждем. Вот сигнал паровоза, толчок состава назад, рывок вперед и эшелон пошел. Прыгаем на площадку. Поехали! Прощайте родные! Ждите нас с победой или извещения о нашей героической гибели за Родину! За Сталина! Состав замедляет ход и сдает назад на другой путь в тупик. Приехали. Осмотрщик прогоняет нас: «Хватит кататься, марш домой!» Странно, но никогда, ни Ванька, ни я не вспоминали и не я повторили попытки бежать снова. Не получилось с первой попытки, другой не делали и никогда и не вспоминали об этом. Сухари поели на переменках и все. Я вот сейчас думаю, что хоть и было желание бежать, но не такое уж сильное, где-то в глубине души каждый из нас не хотел тогда уходить из дома.

За городом сделаны какие-то макеты из камней кучи. Бойцов учат кидать бутылки с горючей смесью в танки. Несколько дней там пламя и копоть. Потом наступило наше время. Бойцы ушли, а мы бросились собирать горлышки от бутылок. В горлышках резиновые пробки, а на пробках цифры. Самым везучим попались 6 и 0, мне попалась восьмерка — очень хорошо! Оттиск печатки получается нормальный, а все остальное чепуха, цифры перевертыши и ни туда и ни сюда. Уже подмораживало, и лежал небольшой снежок, горлышки приходилось отбивать

из подмерзшей земли. Минька увидел торчащее горлышко и саданул по нему ногой, а это была цельная бутылка. Всплеск пламени и часть жидкости попала на валенки и фуфаец Миньки. Минька заорал. Мы успели раздеть Миньку и затоптали ногами в снегу его одежонку. Дома, просохнув на печи, одежка снова вспыхнула, чуть не спалив дом. Миньке досталась порка от Матери.

Зима в 1941-м году легла рано. Вечером 6-го ноября шел нудный осенний, мелкий холодный дождь, а утром 7-го нас откапывал сосед. За ночь нашу дверь занесло под крышу, а дверь открывалась наружу и мы не могли выйти. У соседей дверь открывалась внутрь, сосед посмотрел в открытую дверь и увидел стену снега. Надел на голову мешок и, пробуравив сугроб, вылез наружу, очистил двери и проходы.

Расселили красноармейцев по частным домам на постой. Дома на окраине, а за окраиной степь, в степи они и проходят учебу. Таскают пулеметы, ходят в атаку, кричат «ура», а вечером чистят оружие. У соседа домишко маленький в одну комнату, детей пятеро, к ним на постой никого не определили, некуда. У нас две большие комнаты, вот в первую и заселили целое отделение, в комнате оставили стол, спят на полу. Целый день на морозе в снегу, а морозы в ту зиму были зверские. За зиму 1941/42 гг. постояльцы несколько раз менялись. Отучившись, одна команда уходила на войну, а другая команда приходила. Лиц и имен в памяти не сохранилось, да и были они все на одно лицо, но все ж помню, в одной из команд был Украинец, огромного роста, по имени Харитон. Он постоянно не доедал, ему не хватало солдатского пайка. Однажды его сослуживцы поспорив, отдали ему весь свой ужин, и он смолотил один за двенадцать человек. Вылизал ведро последней коркой хлеба и без тени похвальбы вымолвил: «Кашки я бы еще поел». Сахар он отдал нам, а своим ребятам оставил полведра густого чая. Удивленно покачав стрижеными головами, бойцы легли спать с урчащими желудками. Этому Харитону судьба подарила жизнь в той страшной мясорубке. Он отморозил ноги. Его не могли обуть, не было на складе обуви на его ногу. С трудом надевал ботинки на босую ногу. В 45-й размер его нога не влезала. Скрючив пальцы и не зашнуровывая, он ходил как утка, переваливаясь с боку на бок. И когда ступни распухли и стали больше ботинка, его отправили в госпиталь. Бабаня принесла из сарая старое пальто. Харитон вырезал из ватина куски и обернул ими ноги, обвязав бечевкой. Так он и ушел из нашей жизни, опираясь на палку. Потом командир сказал, что Харитону ампутировали ступни и списали вчистую. Всплыл в памяти и еще

один боец — молоденький парнишка, Федя. Все его звали Музыкант. Федя непрерывно пел, как мне кажется, он и разговаривать не умел. С его слов жить ему до первого боя, его обязательно убьют, а посему он должен перепеть все песни какие он знает, а знал он песен великое множество. Стояли и саперы. На теоретических занятиях они изучали мины и советские, и немецкие. Я вертелся тут же, рядом с бойцами, тоже «изучал» минно-взрывное дело. Иногда, после очередной бомбежки, саперы выезжали на уничтожение не сработавшей бомбы. Ходили разговоры о якобы снаряженных простым песком авиабомбах, но это были только разговоры, просто людям очень хотелось, чтобы так было, это вселяло надежду на жизнь. Бомбы и вправду иногда не взрывались, но это была просто техническая неисправность, брак.

Как-то, уже после войны, ехал троллейбусом от вокзала. Сел рядышком мужичок, примерно моих лет. В общем, словом по слову разговорились: «А помнишь?» — «Помню», «А ты помнишь?» — «Помню». Вот так мы с ним и тарахтели до моей станции «пл. Возрождения». Попрощались кивком головы, пожелав друг другу здоровья. Только вот разговор этот и напомнил мне один эпизод из той далекой поры. Случайный мой попутчик тоже помнил это, а вот ни в музее-панораме, ни в краеведческом музее этого не знают. (А может, не хотят говорить?) Да ладно, фиг с ними! Я не могу точно вспомнить, было ли это осенью 41-го или весной 42-го. Было холодно. По Волге шло сало. Прямо у пристани тогда затонул водный трамвайчик. Что тогда случилось? Он просто лег на борт и ушел под воду. На этот трамвайчик погрузилось, наверное, человек около двухсот бойцов, без оружия, в новеньком обмундировании, скорее всего курсанты какого-нибудь училища, погибли все. Работали водолазы, доставали погибших. Потом трупы грузили на машины и вывозили. Где их захоронили — никто не знает. Это была страшная тайна. Участок работы был оцеплен солдатами. Мне с приятелем только однажды удалось подобраться сравнительно близко и, замирая от ужаса, мы смотрели, как в свете прожектора из воды показывается круглая, глазастая голова водолаза. А потом веревкой вытаскивают из воды утопленников. Ужас! Ведь работали только ночью, чтобы, не открылась «военная тайна».

Ноябрь 41-го. Идет колонна бойцов, винтовки на плечо, на ногах ботинки с обмотками, на головах пилотки, а чтобы уши не отморозить, к пилоткам привязаны тампоны из ваты и бинтов. Наверное, и в шинелях мороз пробирает, а морозец уже градусов 25. Командир едет верхом на коне в папахе, полушубке, на ногах

бурки, а конь горячий задницу греет — не замерзнет. Колонна прошла, следом обоз, на двуколке обложенная перинами с дитем на руках молодая и красивая, наверное, жена командира. И война, и горе, и молодая жизнь.

Уже зимой 42-го почтальон принесла нам домой казенный пакет. Сбежались бабы, набились в обе комнаты, не продохнуть: «Читай, читай!» А у Мамы трясутся руки, и у Бабушки и у тети Маруси слезы на глазах. Хотя похоронки приходили не в таких пакетах, а в обыкновенных конвертах, но было страшно. Наконец вскрыли конверт и достали оттуда огромный, глянцевый лист, исписанный на машинке. У баб и глаза и рты как бублики: «Читай, читай, да читай же!» «Уважаемая Ольга Петровна. Ваш муж Ивлиев Иван Филиппович в борьбе с гнусной ордой немецких захватчиков…» Дрогнули стены, поднялся потолок, задребезжали стекла в окнах во многие рты: «Убили, ох, убили…» Только тетя Настя Шевченкова стояла, молча сжав губы. Она разжала сведенные судорогой пальцы Маминых рук, взяла казенную бумагу, пробежала ее глазами и заорала:

— Тихо, вы суки нещененные! Тихо!… — Все мгновенно замолчали, а глаза и рты снова как бублики. Тетя Настя стала читать:

— Проявил героизм и мужество и награжден медалью «За Отвагу»…

А дальше описывалось, как наш Папа, сержант, командир отделения противотанковых ружей, лично уничтожил германский танк. Танк взорвался и, следовательно, были уничтожены пять немецких танкистов. Шум от радости был не меньше, чем от несостоявшихся похорон. А на улице ребята спрашивали меня: «А правда, что твой Отец подбил танк?» На что я с гордостью отвечал: «Не подбил, а уничтожил, так как танк взорвался вместе с танкистами…» Верили не все, приходилось показывать письмо. Так это письмо и затерялось где-то среди нашей дворовой братии. А жаль, хотелось бы его подержать в руках сейчас. Как я сейчас понимаю награждение простого бойца медалью в 1941-м году, да еще пехотинца, событие не рядовое. Это не 44-45-е годы, когда на пехоту лились дождем награды, эта медаль была действительно дорогой! В феврале Отца ранило в голову, пуля чиркнула по черепу, оторвала кусок уха. Жизнь была в миллиметре от смерти. Госпиталь. Бакинское Пехотное Училище. Обстановка не позволила доучиться. Досрочный выпуск. 5-я Ударная Армия в Калмыцких степях, Миусфронт, Гуляй Поле — родина батьки Махно. В общем, путь наступления повторил скорбную дорогу бегства от орд Вермахта. Дальше 28-я общевойсковая Армия. Кенигсберг, Варшава, Берлин и последний

бой в Чехии 12-го мая. В свою, в которой Отец начал войну, в 9-ю Особую Приморскую Армию, он так и не вернулся.

Мама вечером приносит хлеб, а Бабаня днем зарабатывает молоко, яйца, масло, муку, картошку. Платят кто чем может, Бабаня на своей Зингеровской машинке шьет людям одежку, перешивает, перелицовывает из старых дырок делает новые. Деньги не в ходу — только продукты, натуральный обмен. Вечером наступает торжественный момент приема пищи, ведь фактически едим раз в сутки, вечером, а днем где чего ухватишь, если ухватишь. Сидим все за столом, посреди стола коптилка, сумрачно, холодно. Мама делит хлеб, а Бабаня разливает молоко. Мы с Надькой крошим хлеб в тарелку, раскладывая кусочки рядками, это улица и дома. Делаем молочную «метель» и метель заметает дома. Есть хочется, но играя, растягиваем удовольствие. Вечера долгие, еще успеем проголодаться, а еды до завтрашнего вечера уже не будет. Днем на подножном корму. Мясо редко, больше картошка, молоко. Кое-кто еще держит у себя скот. Хлеб по карточкам. Мама получает хлеб в прикрепленном магазине. Иногда хлеба не хватает, и тогда его выдают на следующий день. Голодная смерть может быть, если потерять карточки, с карточками медленное умирание от недоедания. Смерть в рассрочку.

Мой друг Женька Иванцов, придумал такую прекрасную штуку, а мне ничего не сказал, тоже друг называется! У себя во дворе он высоко под крышей сарая сварганил насест и с этого насеста срал, и все в одну точку. К середине зимы выросла огромная сосулька из говна, больше нашего роста! Вот тут-то он мне и открыл свою тайну. Эх, не додумался я до этого, не хватило ума, Женька умнее меня оказался! Он позвал меня и открыл свою тайну. Ломом отбили примерзшую каланчу-сосульку и унесли ее на улицу. Долго думали, что с ней делать и решили подарить родной школе. Когда стемнело, мы оттащили к школе эту скульптуру и поставили ее у входа. Эх, как хорошо-то на душе! Только потом у меня варежки долго воняли Женькиным говном, когда сохли на печке, и домашние морщили носы. У нас с Женькой много пропущенных дней в школе, пожалуй, больше четверти. Нас могут не перевести в третий класс и оставить на второй год. Дома будет такая трепка, страшно подумать! Не у меня, я Мамы не боюсь, а у Женьки, у него отец дома, не на фронте. Нам надо срочно заболеть и обязательно попасть в больницу. Вот только тогда нас переведут. Но заболеть какой болезнью? Мы не знаем, и как такую болезнь сделать, тоже не знаем. Ура выход найден, надо подорвать себя. Садимся друг против друга, ноги между ног. Между ног ставим топор, обухом

на землю, а острием вверх, и ногами поддерживаем топор, чтобы не упал. На острие кладем запал от гранаты. Ударами молотка разрубаем запал пополам вдоль. Сыпется желтый порошок, но запал не взрывается. Мы в унынии, больше ничего не приходит в голову умного, и мы со страхом ждем решения своих судеб в школе. Нас все-таки переводят, но это нас уже не радует. Война рядом.

Война рядом. Улицы забиты обозами, кругом военные, беженцы. На базаре ничего не купишь, магазины пустые. И днем и ночью гудят самолеты, часто объявляют воздушную тревогу, но на нее уже мало обращаем внимания, привыкли. Ночью нет ни огонька, все затемнено и на улицу ни кто не выходит, комендантский час. Чуть стемнело — все по домам. Забыта рыбалка в ночное, лодки у всех отобрали. Тревожно и страшно. Игры прекратились сами собой, все думают об эвакуации. У Саньки на поясе гранатная сумка:

— Зачем? — спрашиваю я.

— Я в нее положу хлеб, когда будем эвакуироваться. Хлеб в запасе будет всегда со мной… — отвечает он.

Василий (Санькин брат) уже совсем взрослый, работает с отцом на железке. Мы нашли обойму с патронами, а Васька отобрал ее у нас. Попросил у бойца винтовку и, положив ствол на штакетник, выпустил пять пуль в небо, и страшно довольный стал чистил винтовку. А у нас патронов навалом, но мы молчим. Узнают — отберут, а по-настоящему стрельнуть из винтаря не дадут. Мы стреляем по своему: вытащив пулю из гильзы, отсыпаем часть пороха, потом забив пулю, чтобы она провалилась внутрь, досыпаем остатки пороха и поджигаем. Порох, выгорая, выбрасывает пулю с хлопком, вот и стреляем на пустыре, пока ни кто не видит, а чтобы руку не обожгло, патрон держим, обернув его подлом рубахи. Еще можно стрельнуть и так: патрон вбивается в землю камнем, а потом, наставив гвоздь, разбиваем капсюль. Гильзу, конечно, разрывает и может землей запорошить глаза, но тут хлопок получается громкий, поэтому мы стреляем и таким способом. Если патронов находим много, то выкопав ямку, ссыпаем туда патроны и, разводим костер. Все это малоинтересно, эх, если бы пальнуть из настоящей винтовки, это было бы здорово! После, когда уйдет война, мы будем взрывать снаряды и мины в кострах, подрывать головыми шашками, в общем, производить разминирование на «общественных началах».

Из всех семей забрали мужиков, остались бабы да ша шелудень безнадзорная. Война разбросала семьи по разным дорогам. Вот и бредут люди на восток, уходят от войны. Скоро и я

пойду этим путем, но пока еще сидим на месте. Слушаю рассказы своих сверстников, пришедших к нам с далекого запада. Есть прибалты, есть с Украины, Беларуси и Молдавии. Толпы евреев с Одещины. У каждого народа свой говор, и мы уже по говору умеем различать кто откуда.

Был у меня друг Серега. Отца у него взяли самым и первым и они самые первые получили похоронку. Отец Сереги был сильным охотником, уходя на фронт, оставил ружье. Серега и мне давал стрелять. Он высыпал дробь из патрона, и мы вставляли палку в ствол, затем стрельнув, смотрели, как высоко улетит палка. Потом его мать променяла ружье на харчи — на муку, на масло, на мед. Сережа сильно плакал по ружью, но поделать ничего не мог.

Как-то уговорил меня Серега идти записываться в библиотеку. Серега записался, а у меня нет с собой денег на залог, надо 50 рублей. Сергей дал мне денег, и я тоже записался. Деньги я ему, конечно, отдал, только наш залог пропал, так как скоро не стало ни библиотеки, ни библиотекарей. А книга библиотечная у меня осталась, потом тоже пропала.

Мы с Серегой стали изготавливать поджиги. Нам нужны трубки. Серега повел меня туда, где работал его отец. Там стояло несколько разбитых тракторов, мы и уворовали с этих тракторов медные трубки. Дома у Сереги порезали трубки. Инструмент был отцовский и мой приятель неплохо им управлялся. Конец трубки расплющивался, делался пропил под запальное отверстие, из деревянной рогатульки вырезалась пистолетная рукоятка. Проволокой трубку прикручивали к рукоятке и поджиг готов. Насыпался порох, запыжевывался. Надо было поднести огонь к запальному отверстию и… выстрел! Поджиги зачастую разрывало, обжигались лица, руки, но мы делали их снова и снова.

Нашу школу закрыли под госпиталь, а нас, уплотнив классы, перевели в соседнюю. Мы с Женькой бегаем к бывшей нашей школе. Интересно. Раненые в кальсонах и нательных рубахах скачут, ползают, ходят по двору. Во дворе на веревках сушится белье и ленты бинтов. Пробираемся к окну через задний двор. Уже знаем, где операционная, помогая и подсаживая друг друга, забираемся на цоколь и смотрим в окно. Хирурги, сестры в окровавленных халатах, лица закрыты масками, что они делают не видно, только в таз, что стоит под столом, шлепаются кровавые комки. Вата? Куски тела? Приторный запах крови. Нам становится дурно. Спрыгиваем и, пошатываясь, бредем вон со двора. Недалеко от забора нашел рубль, положил его в карман и тогда же потерял, наверно, мимо кармана сунул.

С приятелем Андрюхой ходили на аэродром. У него отец на брони, мобилизованный работать в авиации, столяр-краснодеревщик. Что-то пилит, строгает, латает — чинит аэропланы У-2 (или ПО-2)? Мы иногда бегали к его отцу на работу, там интересно. Под крылья самолетов подвешивают бомбы, целый день самолеты улетают, прилетают, летают и ночью. Нас больше прогоняют, но все же изредка… мне дают и закурить. Табак турецкий, духовитый, не то, что из ошнариков. Андрюха не курит, ему тоже кое-когда попадает шоколадка, он делится со мной, а я стараюсь научить его курить. Делиться, так делиться по-братски. Научился ли курить Андрей? Не помню.

А какая была первая бомбежка? Где-то весной прилетели несколько бомбовозов и сбросили с большой высоты бомбы. Взвыли сирены, уличные рупоры объявили тревогу, затявкали зенитки. В небе таяли белесые клубочки зенитных разрывов. Мы залезли в щель, выкопанную во дворе. Воя бомб мы не слышали — далеко. А взрывы были глухими, как удары палкой по листу железа. Ребята друг у друга спрашивали, куда упали бомбы, но никто толком не знал. Я потом все же нашел, но сейчас я не помню где. Воронки видно свежие, запах земли и горелой взрывчатки. Слазил в воронку, поковырялся в конусе воронки, выковырял несколько осколков синевато-фиолетового цвета — зазубренных рваных кусков металла. Сейчас я самый богатый, у меня есть то, чего нет ни у кого с нашей улицы. Горд этим. Показываю всем. Потом они надоели мне, таскать их? Они рвали карманы, а другого вместилища для имущества мы не имели. На что-то я их поменял. Спустя несколько месяцев мы уже не обращали внимания на эту дрянь. Хватало и целых бомб, снарядов, мин и прочего, и в ящиках, и россыпью. А вот первые осколки помню хорошо и чувство какого-то сладкого восторга-страха от этих синеватых кусочков стали.

Однажды летом 41-го (или все же 42-го) пришел ко мне друг Женька, а Мама брала меня с собой по делам, ну я Маму и уговорил взять и Женьку. Ехали мы в какие-то сады. Началась качка, издали ветерок доносил запах ж./д. шпал, они пахнут по-особому. Букет запахов! Цветов, меда и шпал. У нас был мерин Васька Серый, ленивый и добродушными я его очень любил. Он меня тоже, я так думаю. Я его купал, чистил и подкармливал сухариками. Приехали мы на пасеку в саду, мед из медогонок сливали во фляги. Налили и нам с Женькой в деревянную миску, дали деревянные ложки: «Ешьте!» Мы вылизали миску, и пока взрослые разговаривали, мы сумели наполнить и съесть еще одну миску, втайне от пасечника и от Мамы. В общем, переели от жадности. Нам стало так плохо! Мы посинели, сердце бешено

колотилось и вдруг замирало, казалось, мы вот-вот умрем! Пасечник раздел нас догола, уложил на солнцепеке. Мы лежали, мучаясь, а из наших тел выходил сладкий и липкий пот, к нам липла мухота, ой, как было плохо! Вот тогда я на опыте узнал, что мед ядовит, при жадности и им можно отравиться. А мед я все равно люблю, но ем его по чайной ложке на стакан чая. Только вот после меда ни одно даже самое сладкое яблоко уже не сладкое, а после конфет и мед пресный! А как хорошо пожевать кусочек сотового меда!

Апрель-май 1942-го года. Пришел еще один эшелон с танками. Через дырку в заборе проникаем на территорию складирования разбитой техники. Начинаем обследование, возможно, что-то и найдем. Первый танк без башни, мотора нет, в корпусе ржавая вода и стреляные винтовочные гильзы. Идем к следующему, пусто. Так по очереди и обследуем, авось что-то и забыли солдаты нужное нам? Бежим к следующему. Я первый на броню, Вася к люку механика-водителя. Я на башню. Люк открыт, я в люк и от люка на землю. В танке мертвяки смердящие. Вася тоже носом к носу с мертвым водителем. Нас рвет, рвота какая-то истерическая, выворачивает желудок наизнанку, а там уже нет ничего. Долго-долго нас преследует трупный запах, нет желания садиться за стол, тошнит. Такие вот находки и трофеи. Потом, за войну мы на это нагляделись, притерпелись и уже не обращали на это внимания. Трупы стали обыденными и, как бы, необходимыми спутниками нашей жизни.

Жара, лето обжигает солнечными лучами. От рельс, шпал, вагонов идет особый железнодорожный запах, который не спутаешь ни с каким другим запахом. Идем с Васей Белым вдоль состава, поглядывая сквозь сцепки. Вроде бы нет никого. Лезем на платформу, на ней разбитый немецкий самолет. В кабине пилота разбитые приборы, провода, на полу несколько сцепок снарядиков, белых алюминиевых. Я кладу несколько штук к себе за пазуху. Вася боится и просит выбросить их. Больше нет ничего. Идем дальше, на следующей платформе танк. Похоже, что наш, мы такие видели на картинках, вокруг башни поручни — говорят командирский, люки открыты. Моторная часть открыта, мотора нет. Лезем внутрь. В башне рядочком уложены снаряды. Я отстегиваю один и сую в казенник и закрываю затвор. Хочу открыть замок, но не могу, заклинило, и, случайно нажимаю спуск. Грохот выстрела и толчок отдачи. Вася смотрит на меня — я смотрю на Васю, все так неожиданно, только круглые от страха глаза. Вываливаемся из танка и стоим на коленях у платформ. Нас жестко берут за руки, смотрим в белой гимнастерке милиционер. Поднимает нас и со всей силы сапогом под зад

с правой ноги Васю, а мне достается с левой. Сделав пируэт в воздухе, я головой втыкаюсь в кучу песка, а Вася летит ласточкой и ляпается в лужу меж путей. Я мгновенно вскакиваю и кидаюсь под вагоны. С Васей встречаемся на другой день, и он, и я оба хромаем, нога ужасно болит в том месте, откуда она растет. У меня случайно за пазухой сохранились два снарядика от немецкой авиапушки. Вытаскиваю из гильзы снарядик, высыпаю порох и поджигаю его. Порох сгорает, оставляя черную паутинку и желтое пятно, дунул и нет ничего. Вывернул носик снаряда, внутри розовая масса, пытался зажечь — не горит, выбросил. Стал расковыривать головку, а она взорвалась! Морда у меня черная, из ладони сочится кровь. Пошел умылся, вроде бы все цело и все на месте. Много лет спустя под большим пальцем из мякоти вылезла шишечка. Расковырял ладонь — шарик покрытый хрящиком. Разрезал хрящик — маленький кусочек алюминия — напоминание о детстве и наших играх. Как я сейчас осмысливаю те танковые «стрельбы»? Танк был БТ-5 или БТ-7, выстрелы были холостые, последствий никаких, а если бы были боевые, то, наверняка, поджопником мы бы не отделались!

Сейчас уже и не помню, наверное, в 42-м на станции стоял эшелон. В телятниках открыты двери, в проемах толпятся бойцы, мы стоим возле одного вагона и слушаем. В вагоне боец играет на скрипке. Я слышу чудесную мелодию. Но вот состав тронулся, набрал ход и скрылся за поворотом на Ростов. У меня многие годы в ушах стояла эта мелодия, сыгранная на стоянке неизвестным бойцом. Прошло много лет — по радио передают концерт, и я снова вижу себя стоящего у вагона тем жарким летом, с остриженной «лесенкой» головой и открытым ртом. Чардаш Монте всегда высвечивает ту картину моего детства и какую-то щемящую тоску о навсегда ушедшем времени.

Эшелоны идут часто, один за другим, туда — с людьми, лошадями, повозками с задранными в небо оглоблями. Танки, пушки закрыты брезентом. Обратно те же эшелоны с ранеными, разбитой техникой, беженцами, станками, скотом. Мы встречаем и провожаем эшелоны во всех направлениях, какая уж тут школа. С уроков убегаем каждый день. Однажды воинский эшелон стоял очень мало. Дали отправление без свистка. Просто дернулся состав и пошел. Бойцы вскакивали в вагоны на ходу, подсаживая друг друга, втаскивали в вагон за руки, за ремни. А один боец ушел на базарчик возле вокзала, состав тронулся и пошел, а боец за составом бегом. В руке котелок, молоко выплескивается, а он все бежит и бежит. Эшелон ушел, боец вернулся с пустым котелком, все молоко расплескал пока бежал. Что было с этим бойцом? Наверное, трибунал и вышка. Наверное, тогда уже

действовал печально знаменитый приказ №227, текст которого мы смогли прочитать много-много лет спустя! Что мы знали тогда? О чем думали? Жестовое и безжалостное время. И ничего и никому не было жалко. Перегорали в навоз миллионы человеческих жизней. Тогда прошел слух, что немцы эшелон разбомбили, побили жуть сколько народа.

Роют окопы. Зигзаг траншеи проходит через дворы, кладбище и уходит в степь. Из бревен строят ДЗОТы, на некоторые ставят бетонные колпаки. В ДЗОТах пахнет сырой землей и сосной. В амбразуру видны кресты и далекая степь.

Помню, для меня было удивительным открытием, что рот у человека имеет форму каблука ботинка, я почему-то думал, что он прямой как щель в заборе. А тут раскопали могилу, а там цельный гроб, ну взяли и открыли его. В гробу лежала девушка. Скелет одетый в белое платье, каштановые волосы перехваченные голубой лентой, а из глазниц смотрели высохшие шкурки глаз. Вот тут-то я вдруг и увидел по белым зубам, что челюсть полукруглая, а не прямая, как ее мы рисовали на бумаге и на заборах. Я долго потом все щупал и щупал свою челюсть, все не хотелось верить, что моя челюсть такая же, как у скелета той девушки, что лежала в том гробу. Кости где-то прикопали, а гроб сожгли, хотя гроб был богатый, оббитый медными узорами, с ручками.

Июль-Август 1942-го года. Мама берет меня с собой, чтобы не шалберничал на улице. Едем в повозке-одноконке, раньше такая называлась возок или таратайка. Навстречу нам едут, идут, едут, бесконечная масса повозок, пеших людей. По обочине движутся стада. Коровы опустили рогатые головы к земле. Пыль, жара. Ветра нет. Пыль стоит плотной стеной, непроницаемая, завесившая горизонт. У нас с Мамой повязки из платков на лицах. Небо вылиняло, ни облачка, только маленькое жгучее солнце красноватого, от пыли, цвета. Вся эта масса скрипит, мычит, шуршит, сливаясь в однотонный звук, кажется, что это поет пыль. Вдруг однотонность нарушается, все приходит в хаотическое движение, усиливаются голоса, переходя в крики и вопли: «Воздух!» Появляются три самолета. Тройка идет углом, низко над нами, и стреляют по дороге из пушек и пулеметов. По земле прыгают фонтанчики пыли. Сделав три захода, последний раз самолеты проносятся над нами с выключенными моторами, со зловещим свистом, проникающим в душу, и, кажется, что твое тело разрывается на части. Самолеты скрываются за горизонтом. На земле валяются тела убитых, туши коров, слышны крики раненых. А у меня в глазах тело женщины, лежащее на спине, раскинутые в стороны руки и ноги содрогаются в конвульсиях,

головы не нет, а из шеи течет черная кровь, образуя лужицу. Уцелевшие быстро оттащили мертвых на обочину, задние напирали, объезжали. Дорога снова пришла в движение, и снова скрип, шорох, пыль и жгучее солнце наверху.

В другой раз я ехал с Мамой в ее таратайке. Серый Васька трусил ленивой трусцой. Дорога была пустой. Сбоку от нас шло стадо коров с пастухами верхом на лошадях. И тут из-за горизонта появился самолет. Пролетел над нами, склонился на крыло, развернулся и, пройдя над стадом, дал очередь из пулеметов. Стадо, задрав хвосты, хлынуло с ревом разные стороны, оставив в степи несколько тушь. Летчик сделал еще один заход над нами, поглядел на нас с Мамой и ушел за горизонт. Я хорошо разглядел лицо пилота, мне кажется, что он улыбался над нашим страхом.

Погромыхивает где-то далеко-далеко, будто гроза далекая. Это фронт подкатывается к нам все ближе и ближе. Жаркое лето, пыльное и сухое. По улицам скрипят подводы, фыркают лошади. Обозы, обозы, обозы. На подводах тени людей. Страшно глядеть на черные высохшие лица. Дети, женщины, старики, все на одно лицо. Проходят брички с ранеными, запряженные парами волов. На железной дороге стоят эшелоны с людьми, скотом, станками, военной техникой, вагоны с ранеными — на этих вагонах нарисованы красные кресты в белом круге. Огромный табор и все в движении, все едут, а, в общем-то, бегут от немцев. «Беженцы». «Эвакуированные» — никто не говорит. Не прижилось это слово. Ситуацию отражает именно слово «беженцы» — на настоящий момент нашей жизни. Бегут от фронта, а на фронт идет встречный поток: колонны бойцов, повозки, автомобили — и тоже запыленные, усталые с серыми лицами, а в глазах неизвестность своей судьбы.

Пришло наше время собираться и присоединяться к потоку беженцев. Мамин знакомый предлагает ехать к его дочери на север области, там легче будет пережить трудные времена, в селе проще с продуктами. Во дворе стоит Васька Серый, Мамино начальство как бы забыло про него и он теперь «НАШ!». Закапываем во дворе, что нельзя взять с собой: самовар, посуду, книги, лишнюю одежду. Бабанин «Зингер» завязан в одеяло и обвязан веревками. Бабушка не расстается с машинкой — «кормилица» — как ее называет Бабаня. Дядя Федя снял машинку со станка и установил ее на ручную коробку. Станок закапываем. На повозке одежонка, постели, в общем, самый малый минимум. Ложки, чашки, поварешки — все железное небьющееся. Я бежать не собираюсь, запасаюсь сухарями (опыт уже есть), остаюсь тут. Буду воевать с фашистами. Остаться мне не удалось, сбежать

от семьи тоже. Мама чувствовала и ни на шаг не отпускала от себя. И когда контроль, ослаб (уже на месте) мне удалось сбежать и вернуться в брошенный дом. Мальчишеская бравада, сколько она принесла горя Матери!

Я вернулся в город, когда его уже отбомбили, наверное, в начале сентября. Встретил сразу же приятеля Юрку Крюкова, он был не из нашей заполотновской кодлы. Они жили где-то на Циолковского или на Пугачевской — в районе дома Голдобина, но мы с Юркой яшкались. Да, так вот, во время бомбежки Юрка с Мамкой пробирались с 1-го на 11-й и у Астраханского моста, бомбой убило Юркину Мать. Юрка был старше меня года на два-три, но был он щупленький, росточком с меня. Я вот это к чему. Силенки у него было нет ничего, но хватило затащить мертвую Маму в воронку от бомбы. Почти весь световой день маленький, голодный человечек, убитый горем, захлебываясь слезами, голыми руками соскребал землю и засыпал свою мать в яме. И все это один и под обстрелом. Какую же силу духа надо было иметь в той жестокой жизни? Снова мы встретились уже после войны, но приятельских отношений не случилось. Знакомые и все, моя бродячая жизнь не располагала к постоянной дружбе. Редкие наезды домой, командировки и чужие городами, разные люди.

Недалеко от Крюковых жили Собакины. От Царицы и до ул. Ким в основном были дома рубленые, с плотов. Т.е. когда плотогоны спускали плоты с верховьев — пригнав плот, за рейс они рубили из бревен дом, продавали. Вот из таких домиков, в основном, и состояла прибрежная полоса застройки, в войну практически все эти дома сгорели. Сгорел и дом Собакиных. Когда немцы захватили Царицынскую часть города, Собакины жили уже в погребе. Осенью их отец вылез из погреба и пополз в воронку, где у них был нужник. Оправился, встал и стал застегивать штаны, тут его и срезало, пулеметчик дал очередь в поднявшуюся из воронки фигуру. Его сыновья, Вовка и Колька, похоронили отца тут же в этой воронке, накрыв тело листом жести. Уже после войны Анфиса задумала снять золотые мосты у своего покойного мужа. Отрыла, подняла лист жести, а череп с золотыми зубами провалился в какую-то яму под могилой. Судьба не позволила Анфисе смародерничать. Позже, когда стали строить «дом молодоженов», я говорил Вовке: «Похороните отца, ведь во дворе у вас лежит, рядом с помойкой.» Но… сгребли кости бульдозером. Да там много было таких захоронений, когда шли бои, то хоронили под обстрелом и в любых ямах, воронках, погребах — без разбора.

Осенью 42-го нас, жителей Дар-Горы, выгоняют из домов,

собирают у Татарского кладбища, сбивают в колонну и гонят на Воропоново. В толпе идет тетя Соня с Сашкой на руках, рядом, уцепившись за мамкину юбку, семенит Файка. Конвойные едут сзади колонны на подводе. Около колонны идет здоровенный немец-конвоир с карабином на ремне. У тети Сони нет молока в грудях, и Санька постоянно орет. Тетя Соня сунет ему сиську, Санька чмокнет пару раз, выплюнет сиську и опять орет. Наверное, надоел конвоиру детский писк, он заходит в толпу, берет у тети Сони из рук Саньку. Выйдя из толпы, бросил мальца на землю в кювет и кованым ботинком придавил ребенка, больше Санька уже не нищал. Толпа угрожающе всколыхнулась, бабы охнули. Конвоир сдернул с плеча винтовку:

— Вег, вег, русише швайне…

Бабы подхватили под руки тетю Соню, у нее были страшные глаза. Когда нам разрешили справить нужду в лощинке, мне удалось сбежать. Потом мне никого не пришлось встретить из того конвоя, слышал, что их всех расстреляли где-то под Морозовской. А глаза тети Сони я иногда вижу во сне и просыпаюсь от ужаса в холодном поту.

О Войне написано много. О фронте, о тыле. Вот только о детях войны почти нет ничего. Нет ничего о нашем расстрелянном детстве. А ведь мы жили, дети войны, жили в то самое время. Жили. Ну написано о героях пионерах, о сынах полков, но ведь это раскрашенная сказка, а о нас, реальных, нет ничего. У нас была своя жизнь, голодная, одетая во вшивую рвань, рядом с трупами, детская жизнь рядом со смертью.

В углу кирпичной развалины стоит полевая кухня. Рядом огромная воронка от фугаса, в нее сливают помои и кухонные отбросы. Я залез в эту яму и собираю в карманы картофельные очистки, обрезки сухожилий, засохшие корки-отскребыши из котла. Это мой корм на сегодня. Из-за угла появился немец:

— О, русише швайне!

Что-то крикнул, появился второй немец с фотоаппаратом. Немец наставил на меня автомат и дал очередь. Я вжался брюхом в помои. Немец что-то сердито приказал мне, я сел, глядя со страхом на них. Немец щелкнул несколько раз аппаратом, они бросили мне пару галет в яму и ушли. Плата за страх. Наверное, где-то в Германии в альбоме ветерана есть моя фотография. Детеныша недочеловека в помойной яме. «Данке шен.» Я вылез из воронки и на трясущихся ногах уполз в свою нору. Какое-то время я еще питался из этой воронки возле кухни. Кухню разворотило прямым попаданием и мне пришлось искать пропитание в других местах, даже добирался до элеватора за горелым зерном.

Как-то уже после войны, днем сидел задумавшись. Мама громко хлопнула дверью, звякнули стекла в оконных рамах, дрогнули стены. От неожиданности я вздрогнул — «взрывная волна!?» Почему же в детстве под режущий слух оглушительный треск снарядных разрывов, разрывов мин, бомб, вой осколков и рикошетных пуль, клекот летящих мин — мы не вздрагивали, свыклись. А вот тишина была страшна! Мы не боялись воя клочков рваного металла и посвиста пуль. Опыт показывал, что смерть приходит беззвучно. Такая уж она смерть. Слышно то, что тебя уже миновало. Если ты слышишь клекот летящей мины, значит, мина над тобой и рванет позади тебя.

Куда-то мы пробирались с Вальком, я познакомился с ним случайно в октябре или в ноябре. В городе уже шли бои. Забрался я в подвал одного дома, рядом с моей конурой, а там пацан, он и говорит:

— Здорово.

— Здорово, ты кто? — спрашиваю.

— Я Валек, а ты?

— Я Юрок Серый, может слышал?

— Не-а.

— Ну ладно, будем знакомы?

— Ага!

Поболтали малость. Позвал его жить ко мне, вдвоем веселее, да у меня и лучше. На кирпичи положена дверь, солома прикрытая брезентом. Несколько мешков да одеяло, так что жить можно. В углу таганок с чугунком, ведро с водой. Только со жратвой плохо. Правда, есть очистки от картошки и пачка немецких галет. А у Вальки не было ни-че-го! Несколько дней так прокормились, но надо идти рысачить, ну и пошли. Идем, и тут сзади с треском лопается мина, я упал, а когда повернул голову — Валька лежал, уткнув нос в землю, а между лопаток из спины торчал кусок зазубренного металла. Валькина голова лежала рядом с моими коленями. Чуть-чуть меня миновало. Вальке досталась моя железяка, он своим телом прикрыл меня, падали ж одновременно, только я живым, а он уже мертвым. Вот и все наше знакомство. Несколько дней. О чем говорили? О жратве естественно и как хорошо будет после войны. О родных без уговора молчали, заговоришь, вспомнишь, тоска придет, и расплачешься, а плакать было нельзя, время было такое — жестокое. Я должен был ходить в третий класс, но о школе не думал, она как-то была мне не нужна. Подходил к концу 10-й год моей жизни на этом свете, а свет этот был величиной с крохотный закуток полузасыпанного подвала и самого черного цвета закопченные стены. Так проходило мое «счастливое

детство» — в огромном, разрушенном до основания городе, в дыму и копоти горелого тала, кирпичной пыли и милосердия смерти.

Сам я не видел, рассказывали. На станции Ильмень по ветке Мичуринск — Камышин немцы разбомбили эшелон с ранеными. Днем. На вагонах были красные кресты, отлично видимые с воздуха. Вагоны горели прямо на путях с живыми людьми. Кто мог, выползал и вываливался из дверей вагонов на насыпь и погибал. Эшелон был с тяжелоранеными. Крики и стоны погибающих людей глушили рев моторов, треск пулеметов и авиапушек, взрывы бомб и гул пламени горящих вагонов. Бегая по воле, я проезжал это место. Маленький полустанок у ж./д. моста. Видел остовы сгоревших вагонов, валявшийся под откосом паровоз, только вот могил не видел. Не было их. Говорят, сгоревших людей сгребли в одну яму и сравняли с землей. Военная Тайна.

Официально 2-е февраля 1943-го года считается окончанием битвы за Сталинград. Помню ли я этот день? Не знаю, только когда все затихло, и наступила тишина — есть хотелось не меньше. В этот ли день или в другой, не помню, я стоял возле армейской кухни. Подойти боялся. Повар меня заметил и поманил пальцем. Я медленно подошел: «Давай котелок». Трясущимися руками я никак не мог расстегнуть ремень, сделанный из портупеи, коим я был подвязан. А на поясе у меня был пристегнут трофейный котелок. Повар налил мне полный, до краев, котелок горохового супа и в крышку положил каши, с мелкими кусочками мяса. Да еще дал солидный ломоть хлеба, а на ломоть положил кусок сахара — голубоватый обломок. Я съел весь суп, съел кашу, вылизал свою посуду до блеска, и мыть было не надо, а вот хлеб и сахар положил за пазуху. Хлеб съел вечером, а сахар обменял на хлеб на другое утро. Сахар что? Баловство, сыт сахаром не будешь, а брюхо просит не сладкого, а сытного. Это мы уже уяснили крепко. Брюхо вчерашнего не помнит, помнит только сейчасное. Это мы уяснили и берегли сладости, если попадались нам, на обмен на что-то более веское, сытное. Такова была логика жизни.

Звучит элегия Массне, Шаляпин. Закрываю глаза и явственно чувствую прикосновение сырого ветра, вижу синеватый тяжелый снег, черные деревья, черные сгоревшие танки, силуэты пушек, автомобилей. Из-под снега торчат лошадиные ноги, человеческие руки, искореженные трубы. Столбы, опутанные проводами. Развалины домов. Против вокзала угол дома и высоко в этом углу, зацепившись за что-то, висит кровать. Развалины. Обломки жизней, куда ни кинь взгляд — развалины, с черными

закопченными глазницами окон. И хвост самолета со свастикой из-за стены, как флаг победы смерти над жизнью. Было ли это на самом деле? Или это страшный сон? Что-то такое явственное и не реальное.

Светит солнце, сверкает снег, искрится. На этом блестяще-белом полотне длинная серая лента. Лента шевелится, качается, ползет по дороге. Я иду следом за этой унылой человеческой гусеницей. Вдруг из этой серости выпадает зернышко, тоже серое. Я подхожу, у обочины лежит солдат, закутанный во всякое тряпье. Он еще дышит, глаза открыты и смотрят в небо тускло и бессмысленно. Он еще жив, но уже мертв. Я остановился, посмотрел на этого убийцу моего детства. Пошарил у себя между ног в лохмотьях, достал и поссал ему в лицо. Бессмысленная и жестокая месть, но большего я ничего сделать не в силах. Я и сам могу упасть от голода и не встать на этой дороге. К весне их откормят и они сытые, кидая нам кусок хлеба, издевательски будут спрашивать: «Рус, ты веселый голодный?» А мы, не обращая внимания на насмешки, будем драться между собой из-за этого куска.

Наверное, февраль 1943-го года. Собрал копыта от лошадей. Немцы лошадей поели, а копыта с подковами валяются возле стоянок кухонь. Поставил на костерок ведро, ведро хорошее, только у верхнего ободка пулевая дырка и малость сбита эмаль. Забил ведро снегом и копытами. Пытался снять подковы немецким штыком — не осилил — силенки маловато, так и варю с подковами. На вторые сутки отстали кости и подковы. Запах варева не особо-то приятный, но лучше чем у столярного клея. Догадался процедить варево через сетку, еще раз перекипятил в костре, слил из ведра в котелок и выпил горячим половину. В котелке и в ведре застыл холодец. Хожу, подбираю копыта и варю. Пока живем. На запах приходят две кошки, откуда они тут? Через медную сетку отцеживаю бульон, сетку я подобрал у разбитого автомобиля, хорошая и нужная вещь. На сетке остаются волосы, куски грязи, разный мусор, а бульон чистый. Выбиваю сетку, и отстой из ведра сливаю. Кошки тут же начинаю драться, почему? Ведь кошкам пропитание найти легче, чем нам, людям. Или им приятнее жить с нами, возле человека?

Мама вернулась в Сталинград в конце февраля или в марте 43-го. Вернулась одна, оставив семью в деревне. Мы встретились в нашем дворе, как будто расстались вчера, были рады, но бурно радость не выражали. Мама взглянула на меня и вздохнула:

— Жив?! — Смахнула слезинку с ресниц.

— Письма от Папы есть? Он жив? А как Бабаня? Надька? Тетя Маня?

Стена нашего дома была из самана, задняя половина, а передняя была рубленая из дерева. В саманной пристройке-кухне пробита дыра с мою голову. Мама заделала дыру, а я помог ей вытащить из дома семерых дохлых фрицев и зарыть их в воронке во дворе. Наш схорон с запрятанными вещами уже успел кто-то раскопать, все уперли. В нашем доме, по-видимому, была медсанчасть: бинты, ампулы, вонь карболки и семь забинтованных дохляков. Я уже не мог жить дома, не мог усидеть. Тянуло к своим беспризорникам в развалины, и я уходил. Не появлялся дома и день, и неделю, и месяц. Мне нужна была воля, свобода.

Март 1943-го. Ну, вот и пришла весна, снег лежит по ямам. Земля парит на припеках. Влажный воздух вкусно пахнет грязью и талой водой. Тогда, весной 43-го, я нашел убитого в воронке. Он лежал лицом вниз, желтые пятки торчали наружу. Шинель с отороченым мехом воротником подпоясанная ремнем с портупеей — офицер. Сапоги сняли, как более доступные, ведь тело было занесено снегом. Меня интересовало, а цел ли пистолет? Я по грязи сполз в воронку и рукой скользнул под брюхо убитому. Кобура на месте, но расстегнуть ее не могу. Перевернуть труп — нет силенки. Достал нож и перерезал ремень. Рывками стал сдвигать кобуру на себя, наружу. Наконец, вытащил. Парабеллум без единой рыжинки, черный — на солнце отливает радужной синевой. Взял запасные обоймы и вылез из воронки. Тут меня вырвало. Не заметил, как нанюхался тухлятины, он уже начал подванивать. По карманам я не шмонал, как-то это я упустил, по-видимому от радости приобретения пистолета! В карманах, наверное, кое-что было, с него ведь только сняли сапоги. Пистолет долго был у меня, и только вернувшись из армии, я выбросил его в Волгу. Туда же пошел и П-38, который я выменял у своей братии в те далекие годы. Жалею ли я сейчас, что выбросил? Да. Жалею.

Вообще-то мы шастали все больше по Царице, но забирались и в «чужие владения». На Мамаевом Кургане стоял бронетранспортер, нависая носом над воронкой. Из-под колеса торчал немецкий кованый сапог. Я потянул этот сапог на себя, и он легко подался, обнажив мосол ноги, а из сапога посыпались жирные белые черви и гнилая плоть, вид омерзительный и противный. Я бросил этот сапог, он был один, да еще вонь от него. В воронке лежали останки немецкого шестиствольного миномета, долго валялись, я их видел даже в 1948-м году, показывал пришлым ребятам.

Той далекой весной стояла чудная погода, стала подниматься травка под ласковыми лучами солнца, но тогда убили Колесо. Как

всегда хотелось жрать. Втроем двинулись на «балочку» — базар. Белый, я и Колесо. Жратвы навалом, квадратные и круглые хлеба, табак стаканами, разные консервы в банках и многое-многое другое. А главное, что нам легко стащить — это «тошнотики». Они лежат горкой на тарелках, а вот другие съедобности держат в руках и зорко следят за ними. А «тошнотики» что? Дешевая дрянь — это картофельное оладьи из мерзлой картошки с добавкой отрубей и жмыха. Жрать хочется до тошноты, а поешь этих оладьев — еще больше тошнота допекает. Пошли по рядам, но неудачно, нас сразу засекли. Мы с Белым смотались, а Колесо влип. Били его жестоко, ногами искровенили всего. Так он и лежал на земле весь в крови. Двое доходяг подняли Колесо за руки, за ноги и бросили в бричку. Не довезли его до больницы — помер дорогой. Колесо — Коля Колесов. Сколько же моих сверстников погибло уже тогда, когда война ушла от нас. Подрывались на минах, погибали, разряжая снаряды, гранаты. Убивало, разнося в клочья, сгорали живьем, обливаясь из бутылок с «КС» — «Коктейлем Сталина». Сейчас эту зажигательную смесь почему-то называют «Коктейлем Молотова».

А мне все война снится, ведь не было тогда ничего хорошего. Было просто детство. Босоногое, голодное, вшивое и все-таки это было детство. Босоногое? Как сказать, ведь носил я ботинки, трофейные немецкие. Твердая кожа, окованная сталью, стукни таким ботинком по башке, так и дух вон сразу. Только вот нога у меня была маловата, поэтому натолкал в ботинок и травы, и ногу обернул рукавом румынского мундира, а все равно просторно, болтается нога, ходил. Ботинки у меня новые, неношеные со склада. Увидел у меня эти ботинки какой-то нестроевой доходяга и говорит:

— Сынок, чай тяжела у тебя обутка-то?

— Тяжела…

— Жалко мне тебя, у меня самого такой же оголец, как ты дома, давай поменяемся. Я тебе отдам полегче, англицкие, смотри какие… — И впрямь есть на что посмотреть, солнце отражается от черной лаковой поверхности так сильно, что слепит глаза! Да и легонькие против моих армейских трофейных.

— Ну, давай дядя меняться.

— Давай.

— Только ты мне табачку подкинь!

— Да нет у меня табаку, ошнарики собираю.

— Нет так нет, лады и так…

Сели старый и малый на обломок бетонной тумбы. Разулся я и отдал мужику свои ботинки, а он мне честно отдал лаковые. Я с трудом обулся, не лезет портянка из рукава в ботинок, а без нее

нога болтается, да и холодно. Солдат тоже переобулся, снял с себя наши сыромятные раздолбанные, перебросил их через себя в развалины, потопал ногами:

— Хороши! Ну, давай сынок закурим?…

Достал я из кармана коробок из-под стекол противогаза. (Зимой неприкасаемый запас.) А там этого запаса на две закрутки. Закурили, подымили и разошлись в свои стороны. Ночью пошел дождь, теплый, весенний и обильный. Шел и утром, и вечером. А я пошлепал по лужам босиком. Лаковые ботинки были из картона — раскисли и развалились. (Потом уж узнал, что в таких ботинках за границей хоронят покойников, вот списанный солдатик и прихватил домой трофей. Только вот до сих пор не могу понять, где нестроевой мог прихватить эти ботинки в 1943-м году?) Спасибо солдатику за обновку, да ладно, весна, проходим как-нибудь!

Я прибился к двоим. Он мой ровесник, а его сестренке годика три-четыре. Живем в бронетранспортере, немецкой техникой забито все лоно Царицы, вся долина реки. Утром с рассветом уходим на добычу еды. Девчушку оставляем в машине, оставляем ей воду в котелке, кусок хлеба и горшок в виде каски, чтобы на пол не ходила и как игрушки разную военную чертовню. Вечером я прихожу к ним, приношу что добыл, варим ужин и укладываем малую спать. Сами сидим у костерка, курим и говорим о войне, о доме, о чем слышали днем. Мы сдружились, и я прожил с ними какое-то время. Разошлись утром как-то, а вечером я их не нашел. Говорят, что была облава и милиция забрала беспризорников в детприемник. Какое-то время я еще приходил к нашему «жилью», все ждал — авось появятся, но увы… больше я их не видел никогда. Было тоскливо и грустно, я даже всплакнул немного от одиночества. (А вот домой идти не хотелось, хотя там и была еда и родные.)

Весна 43-го. Первая продукция завода «Красный Октябрь» были крючья-багры. Я на подловке нашел такой крюк. Ковались они из шестимиллиметровой катанки. Тогда этими крючьями убирали трупы. Острым загибом крюка цепляли за подбородок и волокли в яму. Немец, Русский, Румын, Хорват — все без разницы, смерть уравняла всех. За городом убирали и конной упряжкой. За лошадкой на постромках тащился пучок крючьев, как на закидной удочке. Лошадка, помахивая хвостом и покачивая головой, тащила постромки, а могильщик цеплял трупы крючьями по ходу, подгонял лошадку к яме, где трупы отцеплялись и сталкивались вниз. Той весной было необычайно буйным цветение степи, огромное море тюльпанов. Красное, волнующееся море тюльпанов среди ржавого лома отгремевших

боев.

Говорят, что на уборке трупов работали пленные, я не видел. Работали выздоравливающие из госпиталей и мобилизованные 16—17 летние парнишки и девушки. Нам, безотцовщине, нужно было чем-то поживиться, и мы обходили трупные залежи. Можно было найти консервы, курево, спиртное. У наших можно было найти и деньги и другое, что можно было обменять на базаре на еду. Выпивка попадалась редко и, если попадалась, то день считался удачным. За фляжку или бутылку можно было выменять солидное количество еды. В нашей кодле у всех было много ножей, зажигалок, авторучек. Сигареты впитывали трупный запах и для курения были не годны, кроме тех, что мы извлекали из немецких ранцев. Дома у всех были спрятаны пистолеты. Снимал я тогда и немецкие медали и награды, монеты и складывал все это в ящик. Ящик был у меня хороший, железный, я его вытащил из какого-то блиндажа и припер домой.

Когда я стал взрослым? Когда я себя почувствовал большим? Наверное, это было летом 43-го. Шел я по улице, по-моему, по Республиканской. Из-под развалин дома, из подвала, вылез шкет лет пяти-шести и обратился ко мне: «Дядя, а Дядя, дай прикурить?» Вот это обращение ко мне наполнило меня таким чувством огромного превосходства, что я, посмотрев на шкета сверху вниз, как гусь на червяка, сказал ему солидно так: «Рано тебе еще курить, ну да ладно, все равно война», и подставил ему свою самокрутку. Картина, наверное, была, со стороны смотреть, уморительная. Два оборванца на фоне развалин и один у другого прикуривает. У малого френч немецкий с обрезанными полами и рукавами, у большого тоже френч до колен с засученными рукавами и штаны трофейные с обрезанными штанинами. Я тогда был тонкий, звонкий и прозрачный и вечно голодней.

Как-то среди кирпичной крошки заметил лямку от солдатского сидора. Потянул — не тянется. Стал разгребать, достал солдатский вещмешок, развязал — две пары белья, крошки от сухарей, обгрызенные пачки концентратов — мыши уже проверили и попользовались, и хорошие пуховые перчатки, жаль не сезон. Белье сменял на толкучке на харч. На другой день пошел торговать перчатками. Долго ходил с ними, никто не берет. Потом попался мужичишко, маленький и злобный. Схватил меня за шиворот, избил, отобрал перчатки и пинками выгнал с базара. Почему? Зачем? За что? Нас несколько человек детворы. Живем всей кучкой в подвале. Крохотная каморка, залезаем через окно. В нашей берлоге сухо и тепло, а все другие ходы завалены. Натаскали тряпья, шинелей и спим вповалку, а поутру расходимся. В найденном мною сидоре остались

байковые портянки и полотенце с куском мыла. Портянки и полотенце отдал какой-то девчонке с грудным мальцом на руках. У нее ничего не было совсем, а дите было завернуто в кусок мешковины. Она посмотрела на меня, взяла и ничего не сказала. Малец у нее был грязный, синий и страшный. Я вернулся в развалины, взял кусок мыла, хотел отдать девчонке, но ее уже не было, а мыло я потерял, наверное, помню не менял. Сам не мылся я тогда, хотя может быть и сменял на что-то, убей — не помню, а мыло было товар дефицитный.

Осенью 42-го возле элеватора горели вагоны с сахаром. Сахар горел, плавился, тек на землю, и земля напиталась этой жженкой. Мы отламывали куски земли, пропитанной горелым сахаром, клали в посудину и заливали водой. Вода растворяла сахар, а когда вода отстоится, воду сливали и пили — получался «сладкий чай». К весне 43-го участков земли с горелым сахаром уже не осталось, что удалось людям собрать — собрали, а что не собрали, то дожди и талые снега унесли прочь. Приходилось есть холодец из столярного клея, варили сами холодец из лошадиных копыт. На помойках, на удочку ловили ворон, как рыбу. На крючок насаживали наживку, ловились, только мясо жесткое и горьковатое. Эх! Чего только не жрали мы, дети войны.

Помню, как убило Бочку. Он наткнулся на противопехотную мину. Ему оторвало ступню и вырвало низ живота. Умирал он медленно и мучительно. Мы сидели рядом и давали ему пить, он все время просил воды. Разговаривали громко, бодрыми голосами, утешали его, говорили, что без ноги он проживет. Будет ходить на деревяшке, все заживет. Мы знали, что он умрет, и он умер. Мы его тут же во дворе и похоронили в воронке, накрыв куском жести и засыпав кирпичной крошкой. Без имени, без фамилии — только кликуха «Бочка».

Жизнь тогда не была однообразной, каждый день приносил что-то новое, жаль, что в памяти мало осталось. Наши группки бездомников собирались в двойки-тройки и также распадались. Кто-то попадал в лапы облавы, кто-то уезжал на поездах, пароходах. Утром знакомились и вечером разбегались, чтобы утром снова сбиться в группки. Вот и нет в памяти ни имен, ни лиц, просто силуэты в тумане.

Весна, тепло, солнышко греет, травка из земли лезет. А железо войны уже рыжее, ржавое на зеленой траве. Шастали за городом по степи, вдруг что найдем. Стоит танк, наш — Т-34 горелый. Люк открыт у водителя, я заглянул в люк и оказался носом к носу с мертвым танкистом. Он смотрел на меня пустыми глазницами и смеялся во весь рот беззвучно, молчаливо; настолько жуткая картина, что я заорав: «Мама!»

на четвереньках бежал от танка, прямо по-собачьи и орал диким голосом пока сердце не зашлось, и я не упал, обессилив. А что тут уж такого-то? Ну, мертвый и мертвый, обгорели щеки, вытекли глаза, губы сгорели, вот и смеялся зубами. Ну что тут такого? А вот обуяла меня жуть. У меня в жизни было не одно жуткое состояние, но никогда я больше не бегал на четырех конечностях. Мы много раз лазили по этим местам, но всегда боялся я смотреть в сторону этого танка, пока его не увезли на переплавку, на копровый ЗКО. В этих же местах убило Кренделя, не убило, а разнесло в клочья, я видел на брезенте то, что было когда-то Кренделем, совсем недавно, вот только что. А вот меня не убило, чем я заслужил такую щедрость у судьбы, я был не менее отчаянным, чем погибшие.

Музейный экспонат «Стальной Шлем» Вермахта лежит у меня на шифоньере. А ведь мы в детстве никогда не надевали на себя немецкие каски. Почему? Их кепи с висячими ушами носили. Носили их пилотки. Френчи, брюки, обувь, ремни — все шло в обиход, но офицерские фуражки и каски никогда! Но однажды Гешка, клички его не помню, щупленький такой с поросячьими ресницами, такой невзрачный с бесцветными глазами — надел на себя каску, показался нам, повертелся в ней, снял и забросил. Но Гешка стал Фрицем. Так кличка и прилипла к нему до самой его смерти — «Гешка Фриц». Его убило в 44-м или в 45-м Гешкой Фрицем.

Вернулся из эвакуации Ванька Бирюк. Я пошел к ним в гости. Ванька вытащил чемодан и открыл его, стараясь поразить меня, а сам напевает: «Каким я богатством владею, за деньги не купишь его…» А чемодан набит почтовыми открытками! Перебираю виды чужих стран, чужая жизнь, как это не похоже на нас, на наше нынешнее бытие. Никаких эмоций его «богатство» у меня не вызывало. У нас реальность интереснее и намного богаче: и разбитая, и целая техника, оружие, наши раненные и их пленные. На пленных смотрим равнодушно, хотя и пользуемся ими, подкидываем им табак, а они нам хлеб, шоколадки, мармелад. Их уже откормили, рожи у них сытые, а мы тощие, испитые и в лохмотьях. Но МЫ ПОБЕДИЛИ!

Но вещи случаются невероятные! Идем по степи, собираем трофеи. Метрах в двадцати от меня идет Ванька Бирюк. Вот он нагнулся, поднял гранату и идет, помахивая ей. Увидел еще что-то, сунул гранату под мышку, нагнулся, чтобы поднять новую находку. Тут граната и рванула! Ванька от испуга взвыл страшным ором, но остался жив! Ему вырвало руку из плеча и обожгло бок, но ведь остался жив! Нас осталось живыми только четверо из нашего закутка, а кодла состояла из восемнадцати

оторвят — отчаянных и бесстрашных, любопытных и готовых на любую выходку. Я, Бирюк без руки, Ведьма и Белый. Я уже их имена позабыл, остались уличные клички и лица, те мальчишеские лица так и остались в памяти.

Как-то болтался один без кодлы. Нашел пулемет, ранее мной не виданный. Вокруг валялись обрывки лент, снаряженные патронами. Пулемет без крепления, без станка, из приемника торчал кусок ленты. К этому куску прицепил другие ленты. К торчащей железяке проволокой прикрутил свою находку, думаю — вот постреляю, а с какой стороны к нему подступиться не знаю. Стал шевелить, вертеть, нажимать разные торчки, вдруг раздался рык. Я сижу на жопе на земле, а на меня сыплются стреляные гильзы. Исчезли мои ленты, пулемет их сожрал за миг! Уже взрослым, осмысливая этот случай, думаю, что нашёл авиапулемет ШКАС вырванный из турели, а может и еще что-то секретное. Лента была металлическая, какие патроны — не помню. Немецкие МГешники мы знали, чешские ЗБровки тоже, да и другие конструкции встречались, а этот?

За городом нашли немецкий транспортник, обломок фюзеляжа. В грузовом отсеке среди хлама нашли два кожаных мешка, открыли. В одном письма, в другом побрякушки: значки, кресты, медали. Мешки тащим на базар, знакомому сапожнику дяде Косте. Он у нас берет краденое и честно расплачивается, без обмана.

— Где взяли? — Глядя на мешки, спрашивает дядя Костя.

— Да в сбитом самолете… В них были побрякушки… — Достаю из кармана крест на черно-бело-красной ленте. Дядя Костя берет у меня крест и не глядя швыряет его под ноги прохожим:

— Не бери в руки эту гадость, — говорит он брезгливо. — Я ноги за это потерял.

— За что? — Спрашиваю я. — За кресты?

— Дурак, на войне, немец ноги мне оторвал, за это ему крест дали, а я калека на всю жизнь… — Дядя Костя мнет в руках кожу — хороша! Достает из-под себя две банки тушенки и сайку хлеба. — Приноси еще, я тебе сошью сандалии.

Сандалии он мне не сшил, я вскоре попал в облаву и загремел в детприемник. Отмыли, продезинфицировали и направили в детдом. Сбежал, и на первом поезде ушел в бега по воле, а спустя некоторое время, вернувшись, дядю Костю не нашел, сгинул куда-то.

Схватил сыпняк, очнулся в тифозном бараке на «Баррикадах». Как туда попал, каким образом меня подняли, где нашли, привезли — не помню. Недомогание чувствовал с утра, плохо

было, но пошел потихоньку на базар на 1-й. Слабость сильная, жар, во рту сухо. Присел к стенке Мясного корпуса на солнышке, да видно там и свалился. Очнулся уже на койке в палате. Открыл глаза, все плывет, качается в тумане, говорю с трудом — где уж тут ходить?! Сестричка говорит, что кризис миновал, теперь пойду на поправку. Спустил ноги с койки, сижу долго с закрытыми глазами. Потом пытаюсь встать, держась за грядушку. Качает меня, качается палата. Взрослые подбадривают меня, и я начинаю ходить между коек. Потом через несколько дней выхожу во двор. Запах воли чуть не свалил меня, пьяный воздух после палатной вони. Присел на корточки, подышал, поднялся и, держась за стенку, сделал несколько шагов. В те года мы пели: «Фитиль с котелком, куда ты шагаешь? В райком за пайком, разве ты не знаешь?…» Так вот, эти слова про меня. Несколько дней ходил держась за штакетник палисадника и поглядывал на забор. Высокий, без щелей, но перемахнуть можно, только куда сбежишь в больничном, да еще в таком? На мне рубаха и взрослые кальсоны. Эх! Не везет, так не везет. А вот куда меня после выписки определили, убей — не помню. Наверное, отправили в детдом. Меня раза три направляли в разные детдома, но мне удавалось сбегать по дороге. Один мой побег мне запомнился особенно ярко. Посадили нас на поезд, сопровождающая женщина была из того детдома. Выгрузили на какой-то маленькой станции, даже не станции, а скорее всего на полустанке. Нас ждали две подводы, застеленные сеном, чтобы нам было помягче ехать. Погрузились и поехали. Я подождал пока все усадятся и первая подвода тронется, тогда и уселся на последнюю в самый зад. Я уже намылился бежать и все придумал, когда увидел двуконки ожидавшие нас. Какое-то время ехали, проехали деревню. За деревней дорога пошла по кустам, лошади скрывались с головой. Кусты густые по сторонам дороги. Как только первая подвода скрылась у первого поворота, я сполз с подводы и нырнул в кусты. Шума не было, я мимикой показал попутчикам, чтобы молчали. Итак, я на свободе. Мне крупно повезло, у маленькой речушки купались местные мальчишки, я присоединился к ним и попросил какой-нибудь еды. Самый рослый и самый маленький побежали в деревню. Я разделся и лег на песке, завязалась беседа. Я рассказывал им о Войне, о немцах, о Сталинграде. Ребятня была загорелая, а я как глиста сиял белизной. Я поел. В воду не полез, сказал — не умею плавать. И когда вся гопкомпания убежала в воду, я забрал одежонку своего кормильца и махнул в кусты. Когда они хватились меня? Наверное, вечером, собираясь домой. А я в это время уже был

на полустанке и ждал товарняка. Чужая одежка помогла мне не попасться на глаза милиции, казенщину видно издалека! Одежка моя была новенькая, и мой поменяльщик не был, наверное, обижен этим обменом. Его одежка была латаная, старенькая.

Из лагерей вывозят и сжигают немецкое тряпье. Тиф. Охрана солдат (доходяги из выздоравливающих) ворошит горящее тряпье палкой, отходит перекурить. А мы, скрываясь за дымом, подбираемся к костру и выхватываем, что не занялось пламенем, что еще целое. Это всегда удается, т. к. привозят тряпье тюками: френчи, брюки, белье, шинели — но шинели мы не берем. Несем добычу домой, а уж дома Мать эту вшивоту в бак с золой и кипятит все это два-три дня. Что поцелей приводится в товарный вид и на базар, ну а похуже латается для себя и перешивается по росту. Вши кормят нас, мы кормим вшей. Такая жизнь.

Умер Васька Баба (Бабкин). Тиф сегодня косит всех подряд, вымирают целыми семьями. Уже не один мой знакомец умер от тифа. Был такой случай — я нашел нож. Нож такой заковыристый, какого нет ни у кого. С вилкой, с ложкой, с ножницами и еще с десятком всяких инструментов. Пришел я в свою кодлу, подсел к ребятам и с выебистым видом достал этот нож, стал стругать палку, показывая всем, что я не я… Ребята поняли, что я выпендриваюсь и промолчали, показывая полное презрение ко мне. И тут подошел Васька Баба, а он был старше нас. Лет ему было уже, наверное, 16 — 17. Забрал он у меня этот нож, а мне швырнул задрипанный садовый, кривой, самый неходовой у нас. Кодла не пошевелилась! Васька не посмел бы бросить вызов нам всем, но… тут такой момент он не упустил. А мне на всю жизнь был урок. Не дело бахвалиться перед всеми, если сам еще слабак. И вот нет больше Васьки. Жалко его? Наверное, но мы черствые. Война притупила нас всех, и на смерти мы нагляделись уже достаточно. Она не отходит от нас.

За городом стоит батарея тяжелых пушек, хочется стрельнуть, но нет силы зарядить. Уговариваю своих. Накатываем снаряд на палки, подтащили и накатили его в лоток, потом всей кодлой досыльником загнали его в ствол, закрыли замок. Стали конаться, кому первому дергать за шнур, ведь выстрел-то один, а нас много. Ну, выстроились и взялись за шнур в порядке очереди и по команде «раз-два-три» дернули шнур. Пушка ахнула, присела, а мы в разные стороны бежать. Стрельнуть-то стрельнули, а куда смотрит ствол — не посмотрели. А мы натолкали в казенник полный ассортимент порохового заряда — пушка была раздельного выстрела. А сколько мы в те годы

покидали мин! Стоит в окопе труба, а рядом коробка с минами, ну и пуляешь, пока есть что. Кончились, пошли дальше. Стреляли даже из противотанковых ружей, правка всего один раз. Ружье привязываешь к чему-либо, на крючок петельку от веревочки, ну и шмаляешь. Были и казусы. Однажды кто-то фуганул мину издалека, а мы были рядом с ямой с трупами. Яма была чуть присыпана землей. Земля потрескалась, и из трещин тянуло тяжелым удушливым смрадом. Так вот мина и угодила прямо в эту яму. Осколками нас никого не задело, но ошметками гнилой человеческой плотью попачкало основательно. Бежали до воды, чтобы отмыться, по-моему, в какой-то пруд на Царице, а может и до Волги, хотя вряд ли, вонища от нас была такая… Всю неделю преследовала эта трупная вонь, сядешь за стол, а в глазах студенисто-зеленые ошметки и вонь, и тянет на рвоту. Удивительно, но сильнее всего впитывают и сохраняют трупный запах наши советские деньги, насчет немецких не знаю, мы их не брали. А вот наши деньги очень долго хранят запах своего разложившегося хозяина. С этим приходилось сталкиваться и не раз. А почему так?

С Шуркой Шевченковым нашли тюк табака. Дорога, поворот, колдобина. По-видимому, вывалился из автомобиля. Побежали, взяли тачку и привезли домой. Берем понемногу, сушим, листья перетираем руками, а стебли толчем в ступе. Торгуем на улице. Денег у нас много, только на них ничего не купишь. Буханка хлеба стоит 500 рублей. Наторговав табаком, покупаем хлеб и несем домой. По мелочи, но помогаем семьям. Стали следить за этим поворотом. Заметили, как идут машины. Уяснили, что крытые машины с охраной, под тентом вооруженные бойцы. Выжидаем открытую, у поворота машина замедляет ход. Вот тут мы с Шуркой и лезем в кузов, естественно на последнюю в колонне машину. На колдобине машину бросает, и борт наклоняется, в этот момент мы и сбрасываем мешок и спрыгиваем вслед сами. Грузим мешок на тачку, а дома делим добычу. Это самая обыкновенная картошка, и то редко. Обычно все это в навал и без охраны. Даже муку в мешках везут с охраной, а капусту, морковь так. Лук, чеснок в сетках, пару раз удавалось ими разжиться. Но потом наша колдобина замерзла, дорога выровнялась, и наша охота сама собой прекратилась. Нам очень хотелось разжиться тушенкой или сгущенкой и решили мы совершить партизанскую диверсию. В колдобину заложили противотанковую мину, немецкую металлическую кастрюлю с ручкой. Только минеры оказались дерьмовые, забыли поставить детонатор, а может и не знали? Знать-то я знал, да вот взрывателя у нас просто не было. А если бы все по правилам,

и машина шла бы с боеприпасами? Да… ума не было. Хорошо, что никто тогда не узнал. Так она, эта мина и до сих пор там вбитая в грязь. Мы поставили и забыли.

За городом учатся бойцы. Мы с Шуркой, насыпав в карманы табака, идем к ним. Двое тащат пулемет, а через плечо, связанные ремнями, коробки с лентами. Бойцы прилегли за бугорок и отдыхают. Мы предлагаем им купить у нас табачку. Просят попробовать. Даем, закуривают, сворачивая по огромной цигарке. Один спрашивает меня:

— Сынок, а у тебя есть отец?

— Есть… — отвечаю.

— А где он?

— Да где-то на фронте воюет…

— Вот видишь, а мой сынок твоему отцу тоже продает табак, курить хочется, а у твоего отца денег нет…

Мне стало ужасно стыдно и горько, я трясущимися руками достаю из карманов табак и раздаю им. Бойцы суют мне деньги, но я не беру их. Тогда один боец расстегивает ремень и отдает мне его, а я, красный от стыда, отказываюсь, но боец говорит:

— Бери на память в подарок, — а сам снял со штанов ремешок, связал им патронные коробки.

После этого я бойцам табак не продавал, а раздавал за так, но бойцы всегда давали мне что-то «на память», или кусочек сахара или занятную безделушку, взятую из дома как талисман. Один подарил хорошую деревянную ложку, а другой монету-полтинник. Шурка меня не понимает, у него отец-то дома и у нас с партнером разлад. А у меня теплый контакт с бойцами, я сижу с ними как равный, курю, спрашиваю, разговариваю и это очень приятно. При торговле этого не было. И всегда они мне говорили: «Брось, сынок, не кури, затяжная и поганая привычка». Но я уже не мог бросить, да и не хотел.

Я иду. Тропинка давно исхожена, вьется через пустырь и проходит рядом с А-образной опорой электросети. Обычно я ходил тропинкой, огибая опору, а тут взял и пошел под «А», а невдалеке дымил костер, вероятно, кто-то жег мусор. Только я поравнялся со столбом, как сзади треснул взрыв, и что-то с хрустом врезалось в дерево столба. Я повел глазами, а в дереве торчала зазубренная синеватая железяка величиной с две моих ладони, на уровне моих глаз. По спине поползли мурашки и потек холодный пот. Я мгновенно представил себе, если бы я пошел, как обычно, то этим осколком мне бы снесло пол головы. Я сам подрывник, дилетант-сапер самоучка, огромное количество взрывпредметов уничтожил в кострах, но никогда, никогда не взрывал рядом с дорогой или вблизи жилья. А эти стервецы

подорвали снаряд рядом с пешеходной тропкой и в жилом секторе. Спасло меня какое-то чудо сверхъестественное! Верь — не Верь!

Санька Поп рассказывал, да и от других слышал. Было это где-то у нас на Дар-Горе. Какой-то мальчишка затащил на подловку немецкий МГешник с магазином. Возился он с этим МГешником, то ли разбирал, то ли собирал, но только он у него вдруг сработал и полоснул неожиданно очередью по соседскому сараю. Время было голодное, соседи выкармливали чушку, вот этой поросятине и досталась солидная порция пуль из МГ. Шум, крик — скандальное дело! А у этого «пулеметчика» отец пришел на побывку из госпиталя по ранению, отпустили его на недельку домой. Отходил папаша своего отпрыска так, что тот неделю лежал на брюхе, а еще неделю ходил, оттягивая штаны на заднице. Латки терли нежную кожицу, только что проросшую на ранах. Было такое, ходила эта байка. Да и меня Маманя частенько шпыняла за этот, чужой грех.

Я жду Маму в конторе. Приезжает Мама грязная, усталая. Я передаю ей записку: «По приезде сразу явиться к Комаричеву». Это какой-то начальник. Пришлось идти к нему домой. Приходим, постучались, вошли, стоим у дверей. Комаричев ест, молча, не глядя на нас. На столе горка печеной картошки, бутылка с постным маслом, коврига хлеба. А я хочу есть, хочу есть — жрать хочу! У меня во рту липкий комок слюны, в желудке шевелятся жуки и спазмы до боли, меня аж качает. Комар доедает не торопясь все, собирает крошки в ладони и высыпает их в рот. Мы стоим молча, я не слышу о чем долго и нудно выговаривает Комаричев. Мама тихо и молча плачет, слезы текут по щекам. Наконец Комар нас отпускает, и мы молча идем домой, держась за руки. В 1948-ом году Мама встретила дочь Комаричева на рынке, от нее узнала, что Комаричев погиб в Ашхабадском землетрясении.

В школе холодрыга. Приказано принести всем ученикам по полену для топки печей. Я думаю, как увернуться от этого, дома и так топить нечем, холодно спать. Но вот и идея! Беру полено. У дяди Феди прошу коловорот со сверлом. Сверлю торец полена и в дырку закладываю взрыватель от гранаты, забиваю чепом и затираю пылью. Довольный своим изобретением тащу свое изделие. На крыльце носом к носу сталкиваюсь закадычным другом Ванькой Горохом. У него веселая хитрая мордашка, а в руках полено с грязным торцом. Все ясно, не я один умный, показываю ему свое полено, он кивает головой — понял. Зайдя в коридор, и не видя никого, кладет свое полено в кучку дров соседнего класса, и тут на него налетает дежурная и обвиняет

в попытке украсть у нее дрова. Ванька с унылым видом, но подмигивая мне, кладет свое полено туда, куда и хотел. Дежурная пытается отобрать у меня мое, но я твердо стою и гордо кладу свое полено в нашу кучку. Появляется наша дежурная и укладывает дрова в топку, краем глаза смотрю на соседскую дежурную, она тоже закладывает дрова в печь. Уследить, ушли ли наши мины в огонь, нам не удалось. Тревожно бьется сердце, урок на удивление проходит спокойно, мы с Ванькой не шкодим, и это удивляет учительницу. Звенит звонок, братва бежит в уборную, курит. И пока мы на улице курим наши мины срабатывают! У нашей печи вырвало топку, зольная пыль и уголья на полу, полы горят. Техничка и учителки заливают пол водой, в дыму визжат девчонки. Мы с Ванькой делаем круглые глаза, а самих разбирает смех. Успокоились, уселись за парты, пишем диктант, не прошло и пол-урока, как рвануло вторую печь. Нас распускают по домам. Слава нам думаем, что недельку не будет уроков и не надо таскать в школу дрова! Но увы, печки восстанавливают в этот же день и уже завтра учеба продолжена. Вроде бы никто не знает, что произошло, хотя подозревают нас с Гороховым, т. к. ни кто больше не способен на такую пакость.

Недалеко от нас по соседству, в задах с Шуркиным забором, жил глухонемой. Мужик вредный. Детей не любил. Нам, мальчишне, особо доставалось. Если вблизи его присутствия зазевался, и он схватит тебя… Любимое его действо было крутить уши. Поймает, ухватит за ухо и крутит его, т. е. ухо. Орешь, а он смотрит в твое искаженное болью лицо и улыбается, потом плюнет в открытый рот и только тогда отпустит. Мы ненавидели его и боялись, но что могли сделать мы, слабосильные? Мужики на фронте, а бабам не до нас, не до бед наших ребячьих. Провели мы с Шуркой такую же штуку и с немым, как и в школе. Немой заготавливал дрова сам, у него двуручная пила, растянутая как лучковая, и пилил он один. Распилив бревно на кругляши, он колол их и складывал в штабелек-дровницу. Поздно ночью мы с Шуркой утащили у немого пару полешек. Выбрали самые сучковатые. Это чтобы он не стал перекалывать и положил целиком в печку. Чтобы надежнее было положили в полешки по два запала от гранат РПГ, забили чепы, затерли грязью и положили обратно в поленницу. Положили и забыли, где-то в феврале или в марте печь у глухого рванул поутру, жертв не было, но дел наша мина наделала много. Второго взрыва не было (может, был один сдвоенный?), наверное, немой догадался и проверил поленья? Не знаю, но взрыв был сильный, печь разворотило основательно и немому пришлось, наверное, проверять все дрова. А трогать он нас перестал и даже пытался

угощать нас семечками. Большие, помня его жестокость, остерегались, а малышня пользовалась его, вдруг проснувшейся добротой. Он все пытался приручить нас с Шуркой, но мы боялись и никогда к нему не приближались, немой, по-видимому, догадывался, от кого ему надо ждать шкоды, но мы больше ничего ему не делали. Наши пути с Шуркой разошлись по окончании войны и больше никогда не пересекались. Почти никого из сверстников тех лет я не встречал во взрослой жизни. Кого убило, кто спился и умер раньше срока, хотя сведения о жизни друг друга имели, через матерей, знакомых родственников. Закладывали мы тогда запалы от РПГ-40 ударно-мгновенного действия, как сами не подорвались? Судьба!

На улице дождь. Промозгло, холодно и дождь то начинает идти, то прекращает и когда его нет, все равно кажется, что дождь идет. Мы кучкуемся в какой-то развалине. Желтые испитые лица, у всех одинаково голодные глаза и у девчонок, и у мальчишек, и у приблудного пса. Все одеты в трофейные обноски. Курим все, если есть что курить. Я самый богатый, мне повезло, я набрал больше всех ошнариков и курю «куб», так у нас называют окурок сигары, непонятно каким образом сигара попала в наши места, где нет ни улиц, ни домов. Кто мог курить сигару среди кирпичной щебенки. Среди нас один «буржуйчик» чисто одетый, розовощекий, сытненький. У него папа судейскорайкомовский, он нас презирает, однако липнет к нам. В нашей вшиво-голодной кодле ему интересно, видно среди своих ему скучно, «на дне» интереснее. Мы его взаимно презираем, но не гоним и не бьем. Соблюдается заповедь: «Вором не рождаются, Вором становятся». Буржуйчик убегает из школы, у него военный планшет с тетрадками. Он достает из планшета бутерброд с маслом и колбасой. С брезгливым видом выковыривает колбасу, нехотя жует, а кусок белого хлеба с маслом отдает приблудной дворняге. Мы смотрим на это равнодушно, никаких чувств. Белый хлеб, масло, колбаса — это так далеко, мы уже забыли, что такое это, и на нас эти штучки-дрючки не действуют. Больше он к нам не приходил. Ребята говорили, что его отметелили. Ведь даже немцы кидали нам кусок из-за колючки, жалели нас. А это наш ровесник, наш соотечественник поделился с собакой, но не с нами. Он посмел поставить нас ниже собаки! То чего не делали враги! Такого наша дружная кодла простить и принять не могла.

Война ушла от нас на запад. Радио, газеты, похоронки из рук почтальонов. Я снова стал ходить в школу, не потому, что мне хотелось, а чтобы не ссориться с Мамой. Хулиганил. Оставили в классе после уроков, за что, не помню. Скучно сидеть в пустом

классе, за окном сгущаются сумерки. Вышел из класса, тихонько, крадучись иду по коридору. В ЗОО-кабинете свет. Чуть-чуть приоткрыл дверь и смотрю в щелочку, слышу приглашение:

— Заходи, заходи…

За сколом за распластанной птичкой сидит биологичка, я ее не знаю, я еще в младщем классе, но слышал о ней.

— Садись… — я сел, а она спрашивает. — Интересно?

— Ага…

Молчим.

— А че это вы делаете?

— Чучело, это степная сойка…

— Сойка? А мы их синегалками зовем, а как вы их делаете?

— Ну, с мертвой птички снимается шкурка. Остается голова, лапки, крылья. Шкурка солится и сушится. Потом из проволоки делается каркас и на него крепится голова, крылья, лапки и хвост. В пустоты набивается вата и ниткой с иголкой зашивается, понятно?

— Да, только вот дома нет соли, а вы ее на какую-то чучелу тратите.

— Я сама ем несоленое, а на чучело соли не жалко, чучелу долго жить и вас учить.

— Скажите, а Ленин в мавзолее тоже чучело?

Я ждал ответа, а лицо учительницы наливалось синевой, такие лица я видел у трупов. Синее лицо, трясущиеся губы и злые белые глаза. И вдруг я услышал шипящий тихий, но пронзительный, невероятной громкостью звук:

— Вон! Негодяй!

Я вышел из кабинета, из школы, не понимая, что произошло, что это было? Иногда и сейчас передо мной, перед моим мысленным взором, встает это страшное и синее, как у утопленника, лицо.

Война уходит все дальше и дальше. Все меньше остается и ветеранов. Мой отец ушел на фронт в 33 года, из жизни в 82. Мы дети войны стали тоже стариками, как мы видели эту войну, как мы жили в той войне, наши чувства, наш опыт пережитого уже никто не сможет ни пережить, ни прочувствовать. Все наше уходит с нами. Для чего я пишу эти записки, когда знаю, что сейчас, у старика восприятие прошлого тоже искажено временем? Но мое хоть и искажено, все же ближе истинному, нежели у послевоенных. К сожалению, я тоже не могу передать весь «аромат» моего времени, да и ни кто не сможет! Я редко встречаю своих Сталинградских мальчишек 1930-35-х годов рождения. Из нас не получилось долгожителей. Свой жизненный ресурс долголетия мы израсходовали на выживание в годы войны, в годы

«радостного» детства, в оккупации, в прифронтовых местах, в сыпном тифозном бреду.

Я не помню его имени, не помню кликухи, только его лицо. Белое, без единой кровинки и огромные, со страшной болью, глаза. Лазили мы со своей кодлой в развалинах. Через дворы шла траншея. Он нашел какой-то снаряд, унитарный, немецкий. Гильза была стальная и крашеная. Наши снаряды были медные. Он взял снаряд за донышко и стукнул о край бруствера. Головка отвалилась и упала в траншею, спустившись на дно траншеи, он высыпал порох из гильзы и попросил у меня огня. Я отдал ему свое кресало, а сам пошел дальше, поглядывая по сторонам по земле, авось что-то найду. Что было сзади меня я не знаю, только услышал треск взрыва и визг осколков. Оглянулся и побежал в клубящуюся пыль. Он сидел в траншее, зажав ладонями живот, а сквозь пальцы струились, переливаясь радужно розовым цветом его кишки. Он глядел на нас страшными глазами и бескровными губами еле слышно просил: «Не говорите Маме, не говорите Маме, не говорите…» Я свистнул, созывая свою кодлу. У него горлом хлынула кровь и он, дернув несколько раз как-то судорожно ногами, затих. Мы поняли, что он умер. Кто-то побежал сказать Матери, а я не стал ждать крика бегущей женщины и ушел как можно дальше. Только жалко было моего прекрасного кресала.

Да, кресало мне жалко, мне его недавно отковал старый цыган из бродячего табора в обмен на русский револьвер без патронов и немецкий штык с ножнами. Цыган отковал мне нож с фигурной ручкой в виде листьев и бутона, а кресало тоже с загогулинами. Револьвер, штык — дерьмо, а вот вещи сделанные цыганом уже никогда не найдешь! Меня заинтересовало, как цыган из ничего делал прекрасные вещи? Пара половинок кирпича, ямка в земле, кусок рельса, маленький ручной мех и ничего больше, да, еще руки — большие, черные с заскорузлыми пальцами. В первую очередь цыган обслуживал наших баб: рогачи, капельники, совки, кочережки — все для кухни, все для хозяйства. Потом уж тешил наши мальчишеские души. У цыган тоже не было мужиков, воевали. Тоже остались старики, дети и бабы. Я до сих пор в удивлении, как этих бродяг находили письма? Получали и они похоронки. Ни адреса, ни места, а находили. Уже тогда, старый цыган перековывал обломки войны (мечи) на хозтовары (на орала).

На вокзале меня и Федьку Кренделя поймал мент, взял под руки и повел в пикет. Стоял на Невской, среди развалин, такой краснокирпичный особнячок. Сдал он нас дежурному:

— Что, уворовали? — спрашивает тот.

— Нет, но наверняка сперли бы что-то у пассажиров.

— А что ты их забрал? — удивился дежурный.

— Для профилактики майору…

Сидим, шмыгаем носами, хочется курить, хочется есть. Пришел начальник:

— Ну что, попались?

— Нет, привел постовой для профилактики…

— Ну давай…

Первый пошел Крендель. Жду, что-то будет. Сколько прошло времени, не знаю. Открывается дверь, холеные белые руки, пухленькие с лаком на ногтях, за шиворот вытаскивают Кренделя, дежурный подхватывает и выбрасывает его на двор, как мешок с дерьмом. У меня сердце подкатывается к горлу, слабеют ноги, не знаю что произошло, но что-то страшное. Толчком меня забрасывают в кабинет, ловит на ходу начальник.

— У, сволочь вшивая, я научу вас как свободу любить, гниденыши!

Хватает меня за шею, сдавливает пальцами и засовывает голову в топку печки и придавливает дверцу коленом. Кричать нельзя, зола лезет в рот, дышать нечем. А начальник, спустив с меня штаны, срывает шкуру с моей тощей задницы смоленой веревкой. Когда я потерял сознание и упал, меня выбросили на улицу, как грязную тряпку. Эх вы, блюстители, за что? У меня на всю оставшуюся жизнь ненависть к милиции. А Федьку вскорости разорвало в клочья, я хорошо помню, у нас еще задницы не зажили, как его забило. Привезли его на подводе, на куске брезента прикрытого мешковиной. Кто-то поднял край мешка, и я увидел лицо Федьки, затылка не было. Похоронили, сложив куски в ящик.

Долго нет писем от родных с фронта. Наконец приходит письмо из Астрахани от тети Аси, Дедя Яша убит под Курском. От дяди Шуры тоже нет писем, как взяли, так нет ни одного письма. Бабаня молча беззвучно плачет, а Мама и тетя Маруся обнявшись, голосят навзрыд. Мы, глядя на взрослых, шмыгаем носами, а плакать совсем не хочется. От Папиных родных тоже нет известий. У дяди Васи на фронте четверо: Гора, Паша, Бася и Миша — мои двоюродные братья, но они старше меня. С войны вернется только Михаил. Дядя Шура тоже придет домой из плена, о более дальних родных я не помню, война многих из наших уложила в землю. И даже война не примирила Астраханских Ивлиевых и Николаевых, а в чем была неприязнь — я не знаю. Не роднились и не любили друг друга. Знать друг о друге не хотели. Так и ездили в гости, Папа к своим, а Мама к своим, а нас брали и к тем и к другим — вот такие пироги, и все

с мухами, да с шерстью! Прямо Шекспировские страсти!

Дядя Яша приезжал к нам перед самой войной на своем пароходе, он был капитаном на каком-то техническом судне. Его бы не взяли на фронт, речники были на броне, но перед войной тетя Ася заставила дядю Яшу сменить профессию, ей надоели его постоянные командировки, сменил, а тут война, его и забрали снайпером. Был он отличным стрелком да видно и стрелка своя пуля нашла. Так вот дядя Яша приплыл из Астрахани в Сталинград, и пока судно стояло, он забежал к нам. Бабаня кормила его пельменями, а я смотрел, как он ел. Бабушка и Яков были так похожи, что поменяй они одежду и не скажешь который из них он, и который она! Мы с бабушкой вышли к Дому Голдобина и стояли на крутизне, Бабаня махала платком, я махал рукой, а дядя Яша отвечал нам пароходной сиреной, потом он развернулся и побежал вниз на Астрахань. Мы были в гостях у дяди Яши перед самой войной, я в школу еще не ходил, значит, это был 1939-й год, в памяти ничего не осталось. Помню, во дворе была поленница дров, и я играл в прятки с Ниной и Левой и прятался в этой поленнице. Тетя Ася работала врачом и курила. Ее руки пахли табаком и лекарствами, запах довольно противный. У моего Папы руки тоже воняли табаком, но не так противно. Лева водил меня к собору — красивому, белокаменному и я полюбил этот собор на всю жизнь. Ходил с Левой на причал, где стоял пароход его Папы. Дядя Яша разрешил нам лазить в машинное отделение и в рубку, и даже покрутить штурвал, больше память ничего не сохранила. Дядя Шура пришел из плена в 1946-м. Был в Норвегии на камнеломне в горах. Дядя Шура рассказывал: поставили их батарею против моста, ждали немецкие танки, а у пушек только картечные снаряды, ни одного бронебойного. Танки пошли, батарея пехоту от танков отсекла, а танки их пушки гусеницами подавили и расчеты тоже. В общем, очнулся уже в госпитале. Немцы его вылечили и увезли в Германию, там он работал в какой-то усадьбе батраком. Хозяин к ним относился неплохо. Команда батраков состояла из майора-политработника, дяди Шуры, старшего лейтенанта — командира батареи и шести рядовых. Политрук начал партизанскую войну в тылу врага. Натолок стекла и всыпал в корм свиньям, а хозяйская горничная увидела и доложила хозяину. Команду увезли в лагерь, а майора отдельно. Этих семерых отправили на каторжные работы в Норвегию в камнеломни. Там дядя Шура и пробыл до января 1946-го года, после нового года немецкую охрану заменили на норвежскую, лагерь расформировали и каторжан перевезли в Данию — на поправку здоровья, а потом в СССР. Пройдя

проверку дяде Шуре восстановили звание и отправили дослуживать на Дальний Восток, а вот тут пошла непонятка. Старшего лейтенанта-артиллериста назначают комендантом лагеря военнопленных японцев. Почему и зачем? Ну, комендант однажды набил морду наглому японскому офицеру и получил два года лагерей (условно) и демобилизацию домой к семье к тете Лизе и сыну Юрию. Мы тезки с братом, Юрка моложе меня на три года. Летом 1956-го нас разыскал Михаил Ивлиев, тогда майор-радиотехник. Служил на полигоне Кап-Яр. Он и рассказал о моих братьях. Павел и Василий погибли. Георгий воевал в ДБА, из рейда на Германию не вернулся. В 46-м один из экипажа вернулся и рассказал Василию Филипповичу о гибели Георгия. Их сбили над территорией Германии. Весь экипаж смог покинуть бомбардировщик и их всех взяли в плен. После неудачной попытки побега их экипаж разбросали по разным лагерям. Последний раз он видел Георгия, когда его выносили после допроса, Георгий был окровавленный и без сознания. После этого рассказа дядю Васю разбил паралич, и он вскоре умер. Дочери дяди Васи повыходили замуж и разбежались кто куда, я ничего о них не знаю. Шурка замужем за генералом, Зинка майор-медик, замужем за хирургом, Анка в простолюдинах. В период моего жительства в Астрахани я навел справки о сестрах и все, знаться они со мной не пожелали, даже простолюдинка Анка и та воротила нос от простолюдина двоюродного брата Юрки, как от дворового холопа.

Вспомнилось вот что. Была уже поздняя осень, деревья облетели и стояли голые. Небо пасмурное, но без дождя, холодный ветер. Нас двоих сбросили с товарняка на каком-то разъезде. Где? Сейчас трудно вспомнить, много их было этих разъездов за мою бродячую жизнь. В километре от ж./д., была речка или озеро, лес. По опушке леса, по берегу шли огороды, уже убранные. Как всегда хотелось есть, в село идти почему-то побоялись. Сперли лопату с пожарного щита на полустанке, и пошли по копаным огородам. Через час набрали картофельной мелочи. Запалили костерок, заварили в жестянке картошку. Все наше богатство было в заплечных сумках из мешковины. У меня там лежали: источенный нож, кресало, фляжка и как-то случайно завалялась обойма немецких патронов. Несмело подошли несколько местных ребят. Слово за слово разговорили беседу. Они жадно поглядывали на патроны:

— Что, нравится?

— Ага, дай подержать!

— Могу подарить, если принесете что-либо пожрать…

Они мигом исчезли и быстро вернулись. Принесли сало

соленое, кусок вареного мяса и пол каравая хлеба и еще что-то из растительного. Мы с приятелем переглянулись, я вынул один патрон из обоймы и протянул владельцу сала. Он взял, подержал и со вздохом вернул:

— Мало…

— Что? Мало? Да сало сожрешь и забудешь, а патрон останется, его не съешь, сколько на него не гляди его не убудет!

— Ладно, если отдашь все патроны принесу еще колбасы и чеснока, идет?

— Идет! — Так и разменялись, патроны на полторы кружалки колбасы домашнего копчения.

Сидим сытые, захотелось спать, но мой напарник говорит мне:

— Они ведь жратву у маманек сперли. Сейчас тетки хватятся, достанется и мальцам, да и нас наверняка поколотят и жратву отберут. Давай сдергиваться отсюда…

Я подумал, подумал и тоже решил — надо дергать. Поделили продукты, уложили в сумки и двинули на полустанок. Ночью уехали в полувагоне, холодно, но сытым — не так страшен холод! Какое счастье быть сытым и как это было редко в те годы!

Итак, мы уезжаем из города. Мама встретила Николая Трофимовича Гринина, и он забирает Маму к себе на работу. Он заврайземотделом в Гуссенбахе. Немцев выселили еще в 41-ом, заселили беженцами. Домов пустых много, т. к. по мере освобождения от оккупации, беженцы возвращаются в родные края, а тут бросают все и немецкое и свое. Я, собственно жил один, самостоятельно с 42-го, но в зиму с 43-го на 44-й пришел домой. Голодно, холодно и от дома я уже отвык, в домашнюю жизнь не могу войти. Тут еще школа, уроки такая тягомотина, но все же перешел 4-й класс, хотя и с трудом. В ту разруху было послабление к таким, как я, и я почти совсем не учился, все больше на улице, да в бегах. Итак, едем. Поездом до Петрова Вала, пересадка и вот станция Медведица. Мама пытается дозвониться до РайЗо, но не получилось. Идем пешком до Добринки, а оттуда на попутной подводе и до места. Я Гринина не помню, малость припоминаю его сыновей, играл когда-то с ними на улице. Мама говорит, что его дети и жена погибли при эвакуации из Сталинграда. Немцы потопили пароход, на котором они плыли и все там погибли. У Гринина молодая жена, красивая. Николай Трофимович носит на лбу усы, когда я ему говорю об этом, он смеется и треплет меня по голове, он дядька добрый, а вот его Тетя Аля злая. Как-то я пришел к ним, а тетя Аля как раз пеленала Колю и он, лежа на спине, пустил фонтанчик. Тетя Аля засмеялась, а я ей сказал, что

у ихнего Коли ноги кривые. После этого она меня невзлюбила, а я ее. Мне пришлось идти в школу и хотя бы изредка посещать свой «родненький» класс. Перевод в 5-й класс мне удался. Как? Я и сам не знаю, в общем, мне понаставили «туберкулезных» троек и перевели, чтобы не портить статистику. По теплу ушел на волю. Слонялся по развалинам Сталинграда, не единожды попадал в Приемник-Распределитель, направлялся как беспризорник в Детские Дома, но убегал. Хреново там было. Старшие воспитанники измывались над младшими и над новичками. Жестоко били воспитатели за малейшую провинность. Вот так-то. При задержании врал, что Папа погиб на фронте, Маму убило при бомбежке. Я круглый сирота. Но я знал, где мой дом и всегда мог туда вернуться. Ездил поездами до Грязей от Камышина, но только один или два раза. Часто мотался до Елани, там были хорошие базары. Воля! Воля! В 1946-м вернулся отец, и моя жизнь как-то и кое-как была заключена в рамки, но и тогда я еще продолжал свои путешествия. С первой четверти меня исключили из школы за хулиганство. В Гуссенбахе или в Сталинграде… не помню. Не помню, пропустил ли я один год или два учебных. Через несколько лет с этими 4-мя классами я и попал в Ремесленное Училище №5 в г. Дубовка, Сталинградской области. Дубовка мне знакома, я оттуда из детдома сбегал. Было еще два или три детдома, до которых я не доезжал, уходил от сопровождающих. Большинство беспризорников с удовольствием ехали в детдома, таких как я было мало и сопровождающие нас не особенно бдительно охраняли, поэтому заслуги от побега было мало, но самомнение возвышало меня над самим собой — герой! В РУ №5 я закончил 5-й и 6-й классы вечерней школы. В училище поощрялись любые внеклассные занятия и нас отпускали вечерами в школу. Нам нужна была свобода и зачастую вместо школы мы оказывались в совершенно других местах. Все же справку об окончании 6-го класса я получил! В училище я получил кое-какие знания по физике, математике, черчению, металлургии, но главное за что я благодарен училищу, это за слесарное дело. Я всю жизнь слесарничал для души, возился с ржавый железом, возился для себя, давая вторую жизнь бросовым вещам, реставрировал антиквариат для знакомых коллекционеров. Железо моя любовь до конца жизни.

Но я перескочил во времени. Война еще не закончилась, и я живу в Гуссенбахе. Подружился с Витькой Гайдаем и Рудиком Воском, оба евреи беженцы с Украины. Я тянулся к ребятам сильным, но они не шли на тесный контакт, а со слабаками мне было не интересно и я сам сторонился их. Витька, Рудька и я

были равны, и никто из нашей троицы не мог одолеть другого. Устроили себе логово на чердаке брошенного дома, нам нужен был флаг, чтобы его поднимать над нашей резиденцией, а для этого нужна черная материя, но где ее взять? Однажды я шел и увидел во дворе на веревке сохнувшее белье, и среди прочего там висела черная юбка. Я перемахнул через низенький заборчик, снял юбку и задами ушел на другую улицу. И только потом понял, что снял с веревки юбку тети Али, дяди Колиной жены. И тут же в груди вспыхнул огонь удовлетворенной мести за ее нелюбовь ко мне. Юбку мы распороли и нашили из белой тряпки череп с костями. Так у нас появился «Веселый Роджер». Мы его поднимали над нашим логовом, когда были там. Домов брошенных было много, там я пристрастился к книгам, на чердаках пачками лежали подшивки газет, журналов, стопками лежали книги и практически все они были дореволюционного издания и на немецком языке, но были и Русские книги. Такие мы отбирали и тащили в свое логово. Обходя дома, мы обустроили свое логово. Сплели веревочную лестницу и, не зная как ее опустить с земли, проникнуть к нам было невозможно, и мы были уверены в своей безопасности. Но однажды мы нашли наше логово разграбленным. Исчезло все: матрасы, подушки, одеяла, книги, табак, маленький запас еды. Кто-то из взрослых подглядел и грабанул ребятню, выждав удобный момент. Исчез и наш пиратский флаг. Под балкой лежал мой «Вальтер» и кинжал. Их не нашли. Две обоймы патронов 6,5 калибра, я их жалел и не стрелял, берег не знаю зачем. Когда я ушел в очередные бега, свое оружие я оставил там и забыл про них. Может быть, они лежат там и сейчас?

В памяти перепутаны железнодорожные станции, села, места, где мне пришлось пространствовать. Как звали его? Память не дает ответа. Познакомились на привокзальном рынке. Стащили что-то съестное у бабки. Залезли в порожняк и наслаждались пищей, сидя в углу полутемного вагона. Мокрая солома, тряпки, бумага и черт его знает какой еще мусор. Поели, покурили и решили малость отдохнуть. Уснули, а когда проснулись, то была уже ночь и наш «плацкартный» вагон, мерно покачиваясь и постукивая на стыках рельс, куда-то вез нас. Снова улеглись спать, покурив на досыпку. Проснулись уже ранним утром, состав стоял на большой станции. Народу много, шум, крики — спрыгнули и подошли к толпе. Ночью наш состав переформировывался, его расцепляли — сцепляли, гоняли вагоны взад — вперед, мы этого не слышали. Спать на полное брюхо доводилось редко, а уж если довелось, так и спалось как убитыми, из пушки не разбудишь. Так вот, во время формирования, сцепщик вагонов попал между

вагонов, между двух буферов, и сейчас он висел зажатый буферами, с почерневшим лицом. Мы подошли, когда маневровая «овечка» дернула вагоны, и сцепщик упал кулем на шпалы. Его уложили на носилки, накрыли мешковиной и унесли. Толпа разошлась, и я потерял своего напарника. Куда он делся? За кем увязался? Не помню точно, станция вроде бы «Котельниково», а напарника как будто кликали Данилкой. Может он приехал домой и смылся втихаря, чтобы я к нему не прилип? В своих странствиях я иногда уходил домой, всегда честно говоря своим напарникам, что сразу покину их, как только приедем на мою станцию. А я часто приезжал — уезжал, хотелось воли. Я в основном мотался по веткам Мичуринск, Батайск, Петров Вал, Морозовская, Сальск. До Ростова-на-Дону не доезжал ни разу. Поворачивал назад со станций, где менялись бригады. Однажды переправился через Волгу на пароме и махнул на Баскунчак, но эта поездка мне не понравилась. Торгаши почти все корсаки, русских мало. Скорешился с беспризорником башкирцем Равилем. Немного с ним покуролесили и разъехались, он в Башкирию, я в Сталинград. Разбежались мы с ним, наверное, в Гмелинке. Что от этого в памяти? Да ничего. Имя вот, да круглое плосконосое лицо. Обиды друг другу не чинили, делили поровну и табак и еду. Спали в холодные ночи в обнимку, согревая друг друга. Национальность не имела значения.

Ездили с тетей Марусей на огород, помогал ей полоть картошку, когда шли домой я нашел обойму с патронами. Обойма блестящая, патроны блестящие, медные, пули тоже блестящие — белые. А один патрон был черный вороненый. Почему? Я с таким удивлением разглядывал его, этого уродца, что и не заметил, как тетя Маня взяла у меня эту обойму и, размахнувшись, бросила с обрыва в реку. Я был в бешенстве, все у меня внутри бушевало, но ничего не мог сделать, Тетя Маня сестра моей Мамы и старше ее. Молча пережил эту обиду, но простить тете Мани этого, я долго не мог, наверное, всю свою мальчишескую жизнь. Патронов я повидал немало и медных, и омедненных и просто железных, покрытых лаком, но меня поразил этот, невиданный мной черный патрон — черный, вороненый, извините-подвиньтесь, это ой, ой, ой!

Сидим с Надькой за столом, выпили по бокалу молока и грызем семечки подсолнуховые, взрослых нет никого, все в делах на работах. Стук в дверь, заходит огромный мужик. Синяя фуфайка, синие штаны, лапти и синие онучи, весь синий, а на голове рыжий треух. Лицо огромное желто-прозрачное, налитое водой: «Детки, дайте что-нибудь покушать…» А у нас нет ничего. Мама оставила нам по кружке молока, и мы его уже

выпили и в доме нет ничего — ни картошки, ни хлеба, ну совсем, совсем ничего, как говорит Бабаня: «Шаром покати». Мы отсыпаем семечки в его огромные прозрачные ладони. Он ссыпает их в рот и со стоном жует, перемалывая с кожурой. Надька спросила его: «Ты откуда дяденька?» Он ответил, что из Ленинграда. (По-видимому, это было уже после снятия блокады). Он умер на нашей улице, его нашли в нескольких десятках метров от нашего дома. Пред смертью он посидел, погрелся возле нашей печки и ушел умирать на улицу, чтобы не путать детей. Что бы мы делали, если бы он умер у нас, ведь взрослых до самого вечера не было бы дома?

Мама уехала. Я сижу в конторе и одним пальцем на машинке «Ундервуд» выстукиваю письмо Папе на фронт. Дядя Коля разрешает мне это, когда в райотделе никого нет, после рабочего дня. Открывается дверь кабинета, и Николай Трофимович зовет меня:

— Юра, иди сюда, нам пора обедать.

Захожу и присаживаюсь у открытой дверцы печки «Голландки». Молчу. Шмыгаю носом.

— Есть хочешь?

— Не-а-а, не хочу… — и отворачиваюсь к двери, чтобы он не видел моего голодного взгляда.

Николай Трофимович выдвигает ящик племенного стола и достает бутерброд. Краюха черного хлеба, посыпанная солью. Из топки «Голландки» вынимает кружку с кипятком, отливает в стакан и подает мне:

— Бери, не сладкий, но горячий. — Делит горбушку пополам и дает мне. Я бы эту краюшку проглотил в миг, но жую медленно, не показывая своей жадности. Дядя Коля поднимает на лоб свои мохнатые брови и грустно улыбается. На дворе совсем темно, Мамы все нет, но мне тепло и хорошо.

На нас все чаще и чаще делают облавы. Ловят на базарах, на вокзалах, пристанях. В наших основных местах пребывания. Гражданские тоже стараются помочь милиции отлавливать бродяг и попрошаек. Но вот поползли слухи: кому-то беспризорник воткнул нож в живот, а там женщине полосонули бритвой по глазам. Эти слухи заставляют граждан отворачиваться от нас и милиции приходиться ловить нас самим, не надеясь на помощь населения. Несмотря на жуткие слухи, нас ловят, но нас не становится меньше. Спустя какое-то время мы встречаем своих, попавших в предыдущую облаву. Бежит ребятня из приемников, из детдомов — бегут не только мальчишки, бегут и девчонки, не сладко видно там, в неволе, да и домашние, вроде меня, тоже встречаются. И даже найдя родных, уже не может уйти

от беспризорной, безнадзорной жизни в домашний уют.

Однажды в жаркий солнечный день мы кучей сидим на речке с удочками, но клева нет. Развели костерок и жарим кони рогоза из коблов. Коблы — это сплетение корней, выброшенных на берег в половодье. Корни толстые, мучнистые внутри, а поджаренные сладковатые и мы их едим с удовольствием. Вдруг все как-то тревожно затихло. По небу ползет огромная фиолетовая туча, до солнца она еще не дошла, но стало как-то вдруг зябко. Мы быстро собрались и бегом домой. Но туча была быстрее нас и закрыла солнце. А поперек черной тучи неслась грязно белая маленькая, но все увеличивающаяся, тучка, а от нее навстречу нам неслись косые белые полосы. Стало страшно. И вдруг нас накрыл град. Крупный, величиной с голубиное яйцо. Мы бежали, задыхаясь, по холодным кругляшам-градинам, они плясали у нас под ногами и секли нас по стриженым головам, по голым плечам. Мы закрывались ладонями, но руки нас не спасали от этой жуткой порки. Было больно, холодно, страшно. Град кончился и тут хлынул ливень. С оглушительным треском молнии рвали небеса и ослепляли нас. Добежав до дома, мы поняли, что гроза прошла, а мы зря бежали, надо было пересидеть грозу под лодкой.

Летом 44-го решили с Вовкой уйти в путешествие из дома. Володя более рационально мыслящий отверг мои ж./д. предложения и предложил свой вариант. Мы плывем на лодке по Медведице, потом Дон и Черное море. Голодные не будем, берем удочки, а у селян по берегам всегда огороды. Насушили сухарей, взяли хлеба, немного разных круп, соли. Ну, естественно, удочки. Котелок у нас из советской каски. Я еще взял немецкую фляжку в чехле и кружку, хотя совсем непонятно зачем мне эта фляжка? Сунул за пазуху свой «Вальтер». Дорога шла лесом километра четыре. Лодку мы приглядели заранее — хорошая, без течи. Весла нашли в камышах, кто-то их спрятал. Весла новые, крашеные в голубой цвет. У Вовки обломок ножовочного полотна, за полчаса перепилили дужку замка. Управились до восхода солнца. Зябко, по реке туман стелится по воде. Знобит, а у нас только штаны да рубашки, скорее бы солнышко встало! А как в лесу ночевать не подумали, нет, в вагонах лучше! Взошло солнце, пристали к берегу. Собрали сушняк для костра, уже жрать захотелось, а зажечь нечем! Забыли взять огниво, а лупу я тоже забыл взять. Ну набрал я воды во фляжку, Вовке дал кружку, грызём сухари запивая речной водой. Мы не глядим друг на друга, виноваты оба. Ну и что? А ничего, надо возвращаться домой. Переплыли на ту сторону, положили весла в лодку и отпихнули ее, пусть плывет без нас

до самого Черного моря. Жарко, слепни, мошкара и жрать охота. Путешествие наше сорвалось, больше я с Вовкой не рыпался, а вот в ночное время пристрастился рыбачить с соседом Генкой и Вадимом. Я Вадима плохо знаю, а Генка живет напротив нас, у него мать завмагом работает. Каждую ночь ловим по одному, по два сома на брата, ну не совсем сомы, так, сомята по локоть руки. Улов общий. Потом делим поровну. Почему так? Не знаю. Так у них было до меня. Однажды улов был плохой, два маленьких соменка и один большой, как делить? Ну, Генка мне тихонько говорит:

— Ты отвернешься и закроешь глаза. Я буду спрашивать — кому? А ты говоришь — Вадиму, я снова спрашиваю кому? А ты ответишь — мне. Вот, а оставшийся сом будет мне. Договорились?

— Ладно.

Собрались домой и стали делить рыбу по заранее обговоренному условию. Генка спрашивает кому, а я отвечаю:

— Мне… — Генка спрашивает кому, а я отвечаю. — Генке.

Вот Вадиму и достался самый большой сом. Генка на меня обозлился и больше на рыбалку меня не брал, да у меня и пыл пропал ловить рыбу. Местные ребята научили меня добывать водяной орех — Чилим. Идешь по мелководью, разгребая от себя водоросли. Почувствовал укол в ступню босой ноги — есть орех. Так их было много, что за час можно было набрать ведро. По их примеру попробовал семена водяной кувшинки. В маленьких кувшинчиках в слизи лежат черные бусинки, вкус сейчас не помню, но вполне съедобные. Вообще в воде много чего растет съедобного, надо только знать, но откуда мы городские можем почерпнуть сии знания?

В те годы мы курили практически все. Чистый табак нам доставался редко, перебивались окурками. От папирос толку нам было мало, а вот махорочные самокрутки, вернее окурки от самокруток, были нашими поставщиками табака. И бытовала среди нас такая шутка (ведь в одиночку не курили, одна цигарка на двоих). Свернув самокрутку, в серединку цигарки насыпался порох, делалась такая штуковина тихонько ото всех, наедине. Откурив половину, передавали докуривать соседу. Сосед, сделав несколько затяжек, получал вспышку пороха. Порох из боевых патронов был неопасен, он плохо горел. А вот порох из охотничьих патронов давал мгновенную вспышку и мог обжечь губы. Эти шутки проделывали все и со всеми, никто не миновал подвоха. Научился я извлекать взрывчатый состав из пуль противотанкового ружья. Пули крупные, легко извлекаются из гильз. Берешь пулю и, разрезав оболочку на пуле, вынимаешь

сердечник. А там, в носике оболочки заложен серебристо-серый состав, вот этот состав горел почище охотничьего пороха, он взрывался с сильным хлопком. Однажды мне удалось увести у какой-то бабки на базаре мешочек с табаком, мешочек небольшой, литра на три, но табачок был отменный. Смесь самосада с тютюном, да еще и сдобренный цветками донника, аромат — ух! Вот из этого табака и состава пули я и смастерил табачную самокрутку. Долго ходил, искал Леньку, кликуха вроде «Пегий». Не помню точно, какую пакость он мне сотворил, сейчас уже не помню, но что-то сделал обидное и я затаил злобу и вынашивал план мести. Ленька забыл о нашей ссоре и тут я нанес ему удар. Так. Идет мне на встречу Ленька.

— Привет! — говорит он ему.

— Привет! Огонь есть?

— Мои сорок? Лады?…

Киваю, Ленька достал зажигалку и дал мне прикурить, я затянулся и дыхнул на Леньку. Он повел носом:

— Дай на закрутку!

— Не дам, сорок твои, а больше не проси…

Ленька понял, что ему больше не обломится, замолчал, сопит носом, ждет. Сделав несколько затяжек отдаю ему цигарку и говорю:

— Пока, я пошел, дела…

Ленька мотнул головой и полез в развалину, чтобы покурить одному. Отойдя немного я услышал вскрик, а потом вой. Леньку я встретил через несколько дней. Вместо рта сплошная болячка, но глаза целые, злые, страдающие. Из болячки шипящие звуки:

— За что? Зачем? Эх ты…

Я напомнил ему, за что и предупредил, что мне гадить нельзя, я отвечу и отвечу жестоко. На что услышал ответ: «Ты Фашист…» и пошел Ленька прочь, и мне его стало вдруг очень жалко. Ленька больше никогда не подходил ко мне, и это его молчаливое презрение больно било по мне. Я пытался найти пути примирения, но Ленька так и не простил меня. Убило его, наверное, году в 46-ом. Он ушел из жизни, не простив меня.

Ученикам школ в конце 1944-го года администрацией были выданы подарки из Американской помощи, не в школе, а на производстве родителям. Мне достались две пачки яичного порошка, банка тушенки, банка сыра с изюмом и… штаны. Штаны без карманов, но с нагрудником, как у комбинезона, а на этом нагруднике один большой карман. Штаны ношеные, штопаные, но чистенькие. Носил их какой-нибудь американский мальчуган или девчонка. Штаны эти больше смахивали на девчоночьи. Светло-коричневого цвета, почти желтые, как яичный порошок. Я

наотрез отказался носить эти штаны. Бабаня взялась эти штаны перешивать. Вшила им пояс, врезала карманы, к штанинам пришла манжеты, в общем, получились настоящие брюки, как для взрослого. Но, несмотря на эти переделки, я носил их изредка, старался избегать ходить в них. Такие штаны были только у меня, и я был слишком заметен в этом маленьком городке, и на рынке появляться было небезопасно. Тут на базаре прислуга районной элиты меняла американскую помощь на золото и дорогие вещи голодных аборигенов. Глупцы эти аборигены, не понимают цену золотых вещей и меняют золото на еду, что с них взять с дикарей! Меня еще тогда занимали вопросы: почему сын и дочь директора школы переходили из класса в класс с одними пятерками, а отвечали у доски тогда, когда хотели, и знаниями далеко не обгоняли нас, а были вровень с нами, иногда даже и хуже нас. Почему все восхищались ловкостью и подвижностью сына прокурора, когда он разбивал окно в школе, а меня за это же самое окно нещадно драли? Почему детей начальников за их шкоды не наказывали, а любовались ими, а нас называли хулиганами? Почему? Да вот поэтому самому мы их и драли на улице нещадно, сравнивая в правах. Они ненавидели нас, а мы их презирали за их неприкосновенность и особливость от нас.

Мирное время

Война закончилась как-то незаметно. В марте встречали Папу. Приехал в классном зеленом вагона, а уезжал в красном товарном, как звали их тогда — «телятнике». Из вагона выходит огромный военный в шинели с пистолетом на боку, в серых валенках с двумя чемоданами в руках и вещмешком за плечами. А на перроне белый снег, на крыше вагона белый снег и весь город накрыло белым снегом. Белый снег и серый военный, мой Папа, а я его не узнаю. Он был не такой, тогда, при прощании в сентябре 41-го. Пять лет войны… Военный бросает чемоданы и обнимает одной рукой меня, другой Маму. Я дичусь, а по опыту поглядываю на оставленные чемоданы. Мама радостная, красивая, веселая. Пришли домой. На столе бутылка «Горного Дубняка», американская тушенка в квадратных банках, сыр в круглых, галеты. Я сыт. Вылез из-за стола. В сенцах я залез в карманы шинели, а там кроме зажигалки нет ничего, а курить так зверски хочется. Вернулся за стол и незаметно из-под руки Отца увел одну папироску. Стою у крыльца и курю «Северную Пальмиру». Незаметно подошел Отец и положил мне руку на плечо: «Куришь? Не прячься, я знаю, что ты куришь и папиросы без спроса — на бери, захочешь курить, спроси, я дам…» Мне и стыдно и радостно, вот какой у меня хороший Папа!

У Отца на шинели полевые погоны, Отец говорит, что идти в город нельзя, заберут в комендатуру, а какая тут комендатура-то в селе? Но Папа соблюдает дисциплину — снимает погоны с гимнастерки и цепляет на шинель. Снимает с ремня пистолет, кладет под подушку и уходит с Мамой в город с пустой кобурой. Я беру пистолет и в сарае расстреливаю две обоймы в стену, нарисовав на ней мишень. Мою стрельбу прервал сосед, и я не успел зарядить расстрелянные обоймы. Отец мог бы и не заметить, патронов было много. Естественно соседи Отцу доложили, и он мне устроил основательную порку. Это было последнее рукоприкладство, больше он никогда меня не бил. Через два года я ушел уже в самостоятельную жизнь, полностью оторванную от дома. Что тут поделаешь? Я уже был вполне сформировавшийся бродяга. Отпуск закончился, и Папа возвращается в часть. Мама едет с ним в Бобруйск в запасной офицерский полк, оттуда Папа и демобилизовался. Мама рассказывала потом, что ее удивили военные в соседнем лагере. Они были все в иностранной форме и у них были квадратные фуражки. Папа объяснил ей, что это расформировывается Польская дивизия, но почему она не в Польше? На что Папа ей

ответил: а потому, что Польские дивизии состояли из Русских солдат с «польскими» фамилиями. Что им делать в Польше, если они не знают польского языка? Политика. Как-то Папа позвал меня, и мы пошли в степь, он взял с собой чехол от армейской фляжки, полный пистолетных патронов к ТТ. Пистолет Папа сдал в части при демобилизации, а патроны остались. Мы погуляли, посидели на насыпи недостроенной железной дороги Милерово-Саратов. Эту дорогу строили вредители и их всех расстреляли еще до войны, только вот насыпь и осталась. Погуляли — пора и домой. Папа нашел сусликовую норку, уходящую вертикально вниз, открыл чехол и тяжелой струей высылал патроны в эту норку. У меня перехватило дыхание.

— Зачем? Дай мне! — свистящим шепотом попросил я у Отца.

Отец засмеялся:

— Это больше не нужно никому. И тебе в первую очередь… — Он протянул мне пустой чехол. -Возьми на память.

Я с гневом отшвырнул чехол, обида и жалость к самому себе выжигала мое нутро! Обида прошла быстро, а вот понимание действия Отца пришло много позже.

Пашка Винников принес гранату РГД и говорит:

— Вот бросал, бросал, а она не рвется…

Я взял гранату, взвел, спустил. Взвод, пружина, ударник все вроде бы в порядке. Открутил ручку, подул, потряс и говорю:

— Давай запал.

— Какой запал? — Пашка озадачен.

— Обыкновенный запал.

— Я не знаю никакого запала, у меня ничего больше нет.

Ну что с него взять? Тыловик. Просидел всю войну в эвакуации, гранату спер у бойцов, а пользоваться не умеет.

— Ладно, — говорю ему. — У меня есть запал. Пойдем куда-нибудь на речку подальше, где нет больших, а то отберут, да еще и отвалят пиндюрей. Вот там и глушанем рыбки, а так что рвать бестолку, только шум. Договорились?

— Договорились, только граната моя и рыба моя, сколько захочу, столько себе и оставлю!

Я было психанул:

— Я и без твоей, гранаты наглушу рыбы одними запалами, а ты своей гранатой толки картошку, понял?

Пашка сопит носом, соображает, что выгоднее, наконец, говорит:

— Ладно, рыбу пополам…

— И не пополам, а на четверых!

— Это на каких четверых?

— Это я, это Рудик, это Витек и ты, ясно?

— Ясно, Витька ладно еще, а вот жиденка не надо! — ну тут уж я знаю, кто жид, а кто нет. Жидее тебя-то, Пашка, во всем свете нет. Посеришь и смотришь, не положил ли чего лишнего, нельзя ли что-то обратно взять.

Тяжко вдохнув, Пашка соглашается с моими условиями. Спустя пару дней мы вчетвером отправляемся на Медведицу. Идти с километр поселком, он считается городом Линево, но его по-старому зовут Гуссенбах. Потом через лес километра 3—4. Места красивые. Лес, озеро. На озере стоит мельница из красного кирпича в виде старинного замка — стены отражаются в озере, а зеркало обрамлено белыми лилиями.

— Тут что ли глушанем? — спрашиваю я.

— Нет, что ты, — испугались мои спутники, — тут нам бошки поотрывают, идем дальше, мы знаем омут на реке, там сомы лежат здоровые, могут и человека заглотать!

Ну что ж, идем дальше. Лесные запахи, птичий гомон, солнце сквозь ветки бросает на тропинку «зайчики». Тропинка выводит нас на берег реки. Берег низкий травяной, а тот берег обрывистый, весь в норках береговых стрижей. В воздухе над рекой их стремительный полет — черные молнии. Идем вдоль берега, мои спутники местные, знают. Ведут меня заветной яме, где водятся сомы. Выходим на маленькую вогнутую излучину с прибрежной полянкой, обрывчик метра полтора. У обрыва медленно заворачиваясь, крутится черно-зеленая вода, неровным кругом, складками уходя в глубину и выходя из глубины. Глядя на это медленное движение воды становится жутко, но оно завораживает и притягивает к себе. Чем больше смотришь в эту жуть, тем больше хочется нырнуть в эту черную круговерть. Пашка шепотом говорит мне:

— Ты в омут не смотри, а то водяной тебя затянет к себе…

Меня передернуло, и я тоже шепотом спрашиваю:

— Ты-то откуда знаешь, что в гостях у него бывал?

— Не-а, мне бабка рассказывала, а она все знает.

— Давай гранату.

Пашка медлит, спустя минуту, со вздохом достает РГД. Он один из нас пришел с заплечным мешком, а мы взяли удочки и по и паре куканов. Пришли налегке — не наглушим, так с удочками посидим.

— Ребята, — говорю я, — надо бы лодку, кто полезет за рыбой в омут без лодки?

Рудька и Витька переглядываются и уходят, они сами поняли, что лодка это их забота. Где-то через час из-за поворота показывается плоскодонный кулас, а на нем две веселых рожицы

с досками в руках. Доски явно оторвали от забора. Ставят лодку к обрыву и накидывают цепь на свисающий корень. Все готово. Я открываю окошко и вставляю детонатор, закрываю окно. Все делаю медленно, молча, торжественно, как бы «священнодействуя», а в общем-то, выпендриваясь, показывая свою значимость перед мальчишками, я то знаю чего они не знают.

— Готово.

— Не бросай, — просит Рудик, явно боится.

— Отойдите и лягте на землю. — Говорю им.

Ребята отходят и ложатся на травку. Я оттягиваю ручку и ставлю на боевой взвод, перевожу кнопку на взрыв. Опускаю руку вниз к бедру и хочу сделать взмах, но слышу щелчок. Все, граната сработала, через три секунды будет взрыв и мне приходиться бросать гранату от бедра. Граната описывает малую дугу уходит в глубину с легким всплеском. Берег под ногами вздрогнул. Черно-зеленая вода вспучилась, поднялась бугром, вскипела и осела с натруженным вздохом. Грохота взрыва не было, хотя я его ждал, видимо большая глубина. Партнеры рыбаки подошли и посмотрели на омут. Из глубины головой, брюхом верх поднималось, покачиваясь, туловище сома. В нашем мальчишеском понятии — огромного, чуть меньше метра длиной, а вокруг плавала разная мелочь. Мы бросились в лодку и подгребли к сому, но втащить его в кулас не осилили и отбуксировали его к берегу. Пашка ухватив сома под жабры, потащил его на берег:

— Это моя рыбина, а остальную можете забрать себе.

Мы промолчали и стали собирать мелочь на куканы. Набрали по две вязки, а Пашка еще набрал и в мешок.

— Ну, с уловом и домой?

— Домой!

И мы весело зашагали по тропинке. Метров через сто услышали жалобный Пашкин голос:

— Робят, а робят, погодьте…

Остановились, оглянулись, Пашка тащил сома, а махалка волоклась по земле.

— Пособите, — просит он.

— Рыбина твоя, ты и тащи сам!

— Я вам еще из мешка отсыплю.

— А зачем? У нас и своей хватит. — И мы снова тронулись в путь, изредка оглядываясь.

Пашка высыпал рыбу из мешка у дороги, а с сомом пытался догнать нас. Мы остановились, сели у дороги и закурили. Пашка сел рядом, курить не стал:

— Я, наверное, побегу домой за тачкой, вы меня не ждите. Я сома спрячу тут, вы только не глядите, ладно?

Мы молча пожали плечами, нам-то зачем, ты и с тачкой не довезешь, саму пустую тачку надо везти километра четыре, а то и все пять. Покурив, мы продолжили путь. Пашка нас не догнал, пошел видимо другой дорогой. Я его не встречал дня два, потом спросил у его матери, почему Пашка не выходит на улицу. Мать сказала, что Павел мучается животом, где-то объелся сырой рыбой. Да-а-а, жадным не становятся, жадным рождаются!

Один летний день мне запомнился траурной музыкой, льющейся из уличных репродукторов. Умер Калинин. Мы еще тогда, при его жизни пели дворовые частушки:

Дедушка Калинин,
В рот меня е…ь,
Отпусти на волю
Не буду воровать!

Так вот, я слез в тупике на станции Камышин. В брюхе пусто, хочется жрать до тошноты, в глазах туман. Огромная вывеска синего цвета серебряными буквами: «РЕСТОРАН головного управления ОРС НОД ст. Камышин». Запах еды. Рядом стоит такой же оборвыш, как и я.

— Тебя как звать?

— Пузя, а тебя?

— Серый.

— Ну, топаем на балочку?

— Ага…

Пошли. Шумит, гудит базар Камышина, навалом всего и еды и барахла. Калеки играют в рулетку, в петлю, в наперстки. Слепые гадают зрячим на толстенных книгах, заливаются гармошки.

— Пузя, ты кто?

— Щипач, а ты?

— Сявка.

(Щипач — вор карманник. Сявка — вор без специальности.)

— Ну лады, пошел на отмазку. Серый, видишь вон того морячка? У него жопник тугой, я пыряюсь, а ты отмазывай.

Но Пузя влип. Каперанг в золотых погонах, обвешанный орденами, взял Пузю за руку у запястья, подтащил второй рукой и легким, непринужденным ударом о свое колено переломил руку Пузе, а потом отшвырнул его от себя. Совесть у воина чиста, он наказал вора. Да мы были ворами, но такими нас сделала война. А вас, защитники, бессердечными и жестокими тоже сделала

война или вы такими были от рождения? В том, что мы были такими — была ваша вина, товарищи победители. Это вы драпали от Бреста до Сталинграда, бросая на произвол судьбы детей, женщин, стариков. Вы отступая, сжигали дома, продовольствие не оставляя врагу ничего кроме выжженной земли, но на этой земле оставались мы, будущие беспризорники и воры, кому досталось выжить. Я сделал Пузе из двух дощечек шину на руку, обвязал тряпкой и отвел его в медпункт при вокзале. Дежурной сестре сказали, что прыгали на ходу с поезда. Сестра дала нам по куску хлеба и велела ждать. Пузю должны были забрать в больницу, а меня в милицию, но я тихонько ускребся. Больше я Пузю не видел.

Ж./д. ветка Камышин — Мичуринск. Еду на верхней полке, конечно зайцем. Душно. Паровоз пыхтит с сифоном, идет на подъем. На подножке сидят и курят демобилизованные, толпятся в тамбуре. Все в медалях, веселые и хмельные от счастья. Война закончилась, и они остались живыми. Я, лежа на полке, смотрю в окно на проплывающий пейзаж. Плюнул в окно, а порывом ветерка мой плевок отнесло и бросило в лицо одному из солдат с погонами старшины, сидящему на подножке. Его лицо исказила злоба. Я сжался в комок — сейчас будут бить. Он спокойно вошел в купе, взял меня за шиворот и выволок в тамбур. Его товарищи посторонились, и он меня пинком вышвырнул из вагона на ходу поезда. Да вспомнил, утром меня эти же солдаты затащили в вагон тамбура. Накормили и уложили спать на верхнюю полку. Вот таким образом заяц оказался в плацкартном купе. Жалость мгновенно переросла в злобную жестокость. Я очень удачно приземлился на откос насыпи на все четыре мосла. Пока очухивался, поезд ушел и увез мой сидор. Километров восемь я шлепал по шпалам до ближайшей станции. По пути зашел к обходчику в казарму, попросил поесть, но не получил ничего. Попил воды. С обходчиком посидели на шпалах, сложенных в штабель. Покурили. Я пока шел, собрал много окурков на откосе насыпи, намял пол кармана табака, так что могу щедро угощать. У обходчика был свой огород возле постовой казармы и мог бы дать хоть огурец. Да и ладно. Уйдя за перевал, увидел посадку картофеля. Картофель уже зацвел, и можно было накопать мелкого. Что я и сделал, накопал. Отойдя подальше, развел костерок и в золе напек себе на обед мелочи. Поел, покурил и пошлепал до ближайшей станции. Ночью отбыл в вояж товарняком. Где это было? Надо было вести дневник, сейчас бы почитал и вспомнил, но тогда было не до дневников.

В первый класс я пошел в 1940-м году. Второй класс 1941/42 год — началась война. 1942/43 год — бои

в Сталинграде, я в оккупации. 1943/44 — это третий класс. 1944/45 четвертый класс я закончил в Гуссенбахе. Пятый — это 45/46, но меня исключили после первой четверти за хулиганство. Таким образом, с 45-го по 48-й я не учился совсем. Бегал по воле, как тогда говорили, т. е. просто беспризорничал. Даже возвращение Отца с фронта меня не могло осадить. Я стал бродягой. В 1947-ом году Отец пытается пристроить меня в ремонтные мастерские учеником у знакомого Папиного начальника. Где-то пару недель я проторчал у старичка Абрамыча возле круглошлифовального станка «Краузе», и… сбежал на волю. Несколько месяцев в 1947/48 работал на кирпичном заводе, но по собственной инициативе, без настояния родителей. В конце лета 1948-го года попа в Ремесленное Училище №5 г. Дубовка, Сталинградской области. Нас, тех кто повзрослей, отобрали из приемника-распределителя и повезли на судоверфь, на 264-й завод. Там забрали партию ребят с 5-6-ю классами образования в РУ №4, а тех, у кого было до 4-х классов, тех увезли в Дубовку — тут готовили кузнецов свободной ковки и слесарей по ремонту автомобилей. Воровать, чтобы прокормиться уже не было нужды и в колонию тоже не хотелось, так что я остался учиться и не жалею об этом. И хотя слесарем мне работать не пришлось, но владение инструментом помогало в разных жизненных ситуациях. А знание автомобилей помогло стать шофером. В Армию я пришел уже с водительским удостоверением с гражданки.

И это тоже помогло избежать строевой муштры, и хотя я впоследствии бросил баранку, но и свое шоферство вспоминаю с удовольствием. Все было хорошо. Все, кроме ТАУ-54 (Тоцкие Атомные Учения 54-й год).

Я сейчас не помню, как нас доставили в Дубовку, наверно в автомобиле, автобусы тогда еще не ходили, значит, везли в кузове. Может, везли пароходом. В общем, привезли. Столовой нет, в общаге только койки, матрасы и подушки набитые ватой. Ночами уже холодновато, спим по двое на одном матрасе, а другим укрываемся. Утром нас кормят, затем приходят подводы, нас загружают и везут на бахчи в степь. Днем мы убираем и буртуем арбузы, дыни, тыквы. В обед половник жидкого кулеша и подножный корм от пуза весь световой день. Так, наверное, проходит первая неделя нашего пребывания в РУ №5. За эту неделю прибывает и остальной контингент учащихся. 4 группы. 3 — слесарей и 1 — кузнецов. Всего больше сотни человек. Треть беспризорники, остальные казачки с Дона, все селяне. Несколько местных учеников, приходящие. С 1-го сентября начались занятия. Заработала столовая, все путем.

Половину дня в классах на теории, половина в мастерских у верстака. Сидеть в классе ничего еще, а стоять за тисками мне тяжело, болит спина и болит… А болит она от ушиба. Зюзя, я и еще трое наших ребят пошли наниматься на работу на кирпичный завод, говорят — там кормят. А с Зюзей я схлестнулся, увидев, как он ходит колесом. Как в цирке. Бросает тело на руки по вертикали, потом на ноги и так несколько оборотов. Меня это заинтересовало, и я попросил его научить меня. Так я вошел в его кодлу. Вот этой кодлой мы и пошли наниматься на кирпичный. Нас принимают сезонными рабочими — козлить кирпич. Стоят хлопуши (это такой станок), на станках работают женщины. Берет станочница кусок мокрой глины и закладывает его в форму, а потом ударом тяжелой чугунной крышки прессует кирпич. Откинув крышку, и нажав ногой на педаль, вынимает сырец. Вот тут-то мы и на подхвате, берем этот сырой, мокрый кирпич и несем его на козлы т. е. на стеллаж и укладываем рядочками для просушки. Козлы лежат на земле, и вот весь день: взял сырец, отнес его бегом на козлы, нагнулся, положил, разогнулся и бегом к хлопуше. Поклоны и поклоны. Паек дают раз в неделю, по субботам: четыре сайки хлеба (семьсот грамм на день), две-три селедки, 150 грамм масла растительного, не помню, сколько масла сливочного, сахара (тоже не помню сколько). На работу по субботам шли с авоськой. В авоське бутылка-чекушка под масло и кульки. Говорили, что нам положено мясо, но его ни разу нам не дали, хотя под окнами конторы валялись банки из под тушенки. Начальство жрало наши мясные консервы и мы ни разу не получили зарплату деньгами. Дети Рабы! Детский труд в СССР был запрещен, поэтому нам не давали и трудовых книжек, нам было по 13 — 14 лет, какие уж тут трудовые. А денежные ведомости, по-видимому, составлялись на мертвые души.

Обеденный перерыв. Берем ведра с водой и идем в степь, если повезет, то найдешь пару сусликовых норок. У меня два брезентовых ведра, армейские, мне ребята завидуют. Да, вылил суслика, цепляешь за голову проволокой и на печь — откроешь конфорку, а там кирпич, раскаленный добела. Опускаешь туда свою добычу и скорость запекания суслика мгновенная. Опустил-вынул и дичь уже готова. Маленький кусочек очень жирного мяса. Поел и терпи — не пей воды, иначе замучает понос. Это мы знали и терпели. Поели, покурили, полежали в лабазе в холодке на свежем сквознячке. А в выходной Зюзин Юрка учит меня крутиться колесом. Я становлюсь на четвереньки. Юрка берет меня за ноги и поднимает, я стараюсь держаться на руках, выполняя стойку. Все хорошо пока меня держат за ноги, как

только отпускают, так я на земле. Юрке надоедает, и он предлагает мне учиться самостоятельно. Ладно! Я разбегаюсь, становлюсь на руки с разбега, правильно! Только вот я в спине переломляюсь, но не вперед, как всегда, а назад и шлепаюсь на спину. Под позвоночник попадает камень. Боль страшная, я взвыл, но не могу встать. Отлежался и с трудом волоча ноги, поплелся домой, больше я не учился крутить колесо. Спина очень долго болела, сейчас не болит, но долго стоять не могу, нужно садиться или ложиться.

Медведица подмывает берега, если пройти вверх по течению, то можно прийти к старому поселению. Тут когда-то жили люди и в обрыве берега видны квадраты могил, старое кладбище. Вода размывает глину, а в песке берега можно найти старые монеты, кольца, бусинки, сережки, крестики. Ребята говорят, что это из могил и брать ничего нельзя, а то будет беда. Я не боюсь беды и подбираю монетки, все другое меня не забавляет и я ничего не поднимаю. Однажды мы подняли горшок, заткнутый меховой малицей. Рукавица истлела, но сохранила свой вид. Мы не смогли вытащить содержимое горшка, и пришлось нам горшок разбить, он был глиняный. В горшке был спекшийся комок серебряных рублей. Камнями мы раздолбали этот слиток зелени. Рубли разделили и долго потом оттирали кирпичом зелень с монет и конечно безвозвратно испортили их.

На крутом берегу стоит очень симпатичное строение. Раньше, по-видимому, это была усадьба зажиточного помещика, сейчас в этой усадьбе ветеринарная лечебница, при лечебнице живет ветеринарный врач с семьей. Он сам, его жена, их сын наш ровесник и старуха-бабка, старуха вредная. Не дает нам прыгать с обрыва в речку, а тут самое удобное место для прыжков. Как только мы растелешимся, она тут, как тут со здоровенной холудиной. Холудиной нас не запугаешь, а вот одежку приходится прятать. Мы переплываем на ту сторону и валяемся в горячем песке. Надо понырять — переплываем на тот берег и прыгаем с обрыва. Появляется бабка с холудиной, а наша орава устраивает дикий хоровод вокруг старухи. Кружимся вокруг и хором выкрикиваем скороговорку придуманную нами: «Я бабушку Яниху, я не боюсь…» Бабка махает холудиной, старается огреть нас по нашим голым ногам, но мы уворачиваемся и продолжаем вопить свою скороговорку. Бабке ни разу не удалось задеть кого-нибудь. Мы шустрые и верткие. Устав от бесплодной гоньбы, бабка, плюнув, уходит.

ВОЛГА! Сколько радостных дней было у нас на твоих берегах. Мы все лето проводили у твоей ласковой и нежной воды. Ты несла на себе и лодки ловцов, и красавцы пассажирские корабли,

и ленивые плоты. Я, в своей памяти, захватил даже «Беляну»! Наверное, самую последнюю. Мы, мальчишки, по голосам узнавали многие пароходы. Неповторимым басом обладал двухтрубный «Степан Разин», ни с каким другим нельзя было спутать голос мощного буксира «Академик Павлов». Мы издалека узнавали нашу старушку «Марию Ульянову» — тихоходную и кособокенькую, она ходила на местной линии. Еще по Волге ходили «американцы» с огромным гребным колесом над кормой: «Алмаз», «Рубин», «Яхонт», «Изумруд». Возили они скот и таборы цыган. А «Алмаз» еще, по-моему, и после войны шлепал. Или «Изумруд»? Нет, не помню, но пара этих старичков ходила еще после войны. А «Марию Ульянову» мы любили особенно, не я, а ребята постарше меня. Я до войны был еще мал, а старшие пробирались на стоящий у пристани проход и прыгали с кормы кто ласточкой, кто солдатиком, а кто бочкой. Я тогда со своими сверстниками плескался у берега, а старшие шли на заплыв. Ребята ждали отхода парохода и выхода его на стрежень, на середину Волги, на фарватер и тогда прыгали в кильватерную пенную струю воды. Я на эти подвиги пошел только в 1947-48-х годах. Раньше боялся. Так вот, на пароходах почтовой и скорой линий, нас матросы гоняли страшно, редко кому удавалось проникнуть на пароход. На местных, грузопассажирских было посвободнее, а вот на «Марии Ульяновой» на нас смотрели сквозь пальцы. Видимо помнила команда свое детство. Как говорили «Иосиф Сталин» был потоплен немцами у Черного Яра. «Степана Разина» потопили у Дубовки. На затонувшем «Разине» мы с ребятами лазили, когда Волга к середине лета мелела и палуба осушалась. В трюмах были ящики с патронами. Мы ныряли в трюм и достали несколько ящиков, но порох в патронах был мокрый. Сейчас от этих пароходов не осталось следа, только память. Белые, как лебеди, с голубой полосой на трубе — почтовые, с красной — скорые, а на черной трубе красная полоса — грузопассажирские. Когда я был в Дубовке, в РУ, еще видны были трубы и обводы гребных колес, а с постройкой Волжской ГЭС и наполнением водохранилища, «Степан Разин», наверное, весь ушел под воду и там окончательно разрушился.

У приятеля есть лодка и… малая сестренка. Собрались как-то покататься на лодке. Сестренку бросить дома одну нельзя, ну и взяли с собой. Я на веслах, а приятель на корме с рулевым веслом. Я еще не умею работать двумя веслами и управлять лодкой. Раньше я сидел только в паре на одном весле и выполнял команды: греби, табань, суши. Я сказал об этом приятелю, а он мне — учись, пригодится. Поднялись вверх до «Первого» и тихонько сплываем вниз. Прошли дом Голдобина, идем

тихонько к пристаням и тут нашу лодку подхватило струей и понесло. Димка орет на меня, чтобы я выгребал, а я, не понимая всей трагедии нашего положения, на Димкины матюки стал еще и выкобениваться. Лодку развернуло и бросило под носовую часть дебаркадера. Димка, упершись спиной в подкосы палубы, держал лодку изо всех сил. Что-то толкнуло и мое сознание, я встал, и тоже упершись спиной, стал помогать приятелю. Он уже терял силы и, глядя в лицо матроса, который перевесившись, смотрел на нас с ужасом, выдохнул:

— Возьми девчонку…

Матрос протянул руки и рывком выбросил Ленку на палубу.

— Ребята, а вы?

— А нам капут, — Димка кивнул мне головой, и я понял его.

Медленно, по сантиметру перебирая ногами, стали уводить лодку из-под дебаркадера и нам это удалось! Выведя лодку, мы встали у сходней и обессиленные упали на дно. К нам подошли матросы:

— Ну ребята, ну молодцы! Взрослым такое редко удается!

И в их голосах слышалось подлинное восхищение и уважение нами. Они дали нам закурить, пожали руки как настоящим мужикам и сказали на прощание:

— Вы сегодня родились снова!

Я потом понял, что должно было случиться. Лодку затащило бы под дебаркадер, разбило бы в щепу, а нас нашли бы дня через 3—4, если бы не затащило под плоты, а напор воды был, конечно, слабым, если наших мальчишеских сил хватило вывести лодку.

По радио услышал, что в Смоленской области, в деревне, где родился автор знаменитой песни «Катюша» открыли музей этой песне, а на берегу речки поставили памятник. Вот и вспомнилось. Война окончилась, домой возвращались солдаты. Улицы, базары заполнились гимнастерками с орденами. И на ночных улицах слышалось звяк-звяк-звяк — слышался перезвон медалей в такт шагам. Редко, среди этой героической массы мелькали сероватые личности, старающиеся быть незаметными. Это были бывшие пленные из немецких лагерей. Появились ярко накрашенные девицы в пестрых одеждах, они наоборот выделялись среди наших серенькиx и незаметных девушек, как бы пришибленных войной. Репатриантки коснулись западной жизни. «Предатели Родины» ведут себя вызывающе нагло, как завоеватели. Для нас детворы это было непонятно и мы, как могли, гадили этим «немкам»! Кидали горящие окурки в раструбы модных тогда ботиков, которые мы так и звали — «плевательницы». На спину вешали на ниточках с крючками дохлых мышей, презервативы

и прочую гадость, но чаще злыми мальчишескими голосами пели «Катюшу»:

Позабыла Катя про Ванюшу,
Письма Вани в печке все сожгла,
На походной, на немецкой кухне,
Молодого повара нашла!

Я не помню всей этой песни, перефразированной из всем известной, она была злой и похабной, как тогда говорили. Интересно, есть ли в том музее вариант этой перефразировки? Жаль, если нет, а надо бы, ведь это тоже глоток нашего времени, того без которого не полна будет атмосфера послевоенного быта.

РУ №5. Убегаем по выходным в степь. Под Ерзовкой от грейдера до Волги ровная как стол степная равнина. Вот по этому полю лежали скелеты в три ряда в шахматном порядке. Видно, как кое-кто успел отрыть ячейку, кто-то только начал копать, а кого-то сразу уложило. Мы насчитали триста с гаком черепов. Была ранняя весна 1949-го. Земля голая, серая, только белые скелеты на ней, да сгоревший Т-60. Мертвый танк сопровождает атаку мертвой цепи солдат. На голых мослах обрывки истлевших обмоток, рваные остатки обмундирования, дырявые каски, искореженные винтовки. Видимо, все годное к употреблению уже собрано. Наверное, тогда, осенью 1942-го их подняли в атаку, прямо на пулеметы — метрах в двухстах пулеметные гнезда. Стреляных гильз в гнездах по колено. Да потом пошел снег, убитых прикрыло. Война ушла, а они остались. Потом осенью по полю пустили трактор и тракторист запахал останки этих бойцов. В 1978-м году я с Сашей на его «Колхиде» проехал по этому полю. Кукурузу убрали и среди пеньков стеблей лежали обломки костей. Я рассказал Саше историю этого поля. Неужели нельзя было сельсовету организовать сбор и захоронение останков? Проще под плуг? Я поднял затвор от трехлинейки, вздохнул и бросил его в пахоту. Немцы своих убитых хоронили каждого в отдельной яме. И только когда их стремительно гнали, они бросали своих погибших. А нашим было все равно — и отступая и наступая, куда бросать тела своих товарищей.

Убегаем каждую субботу в ночь на выходной. Кое-где еще по балкам валяется техника. Ищем авиационные моторы. Нас интересуют клапана. Выхлопные клапана пустотелые и в них заложен натрий. Сталь закаленная и стержень клапана легко обломать. Оттуда уже можно извлечь натрий. Если на крошку натрия плюнуть, то он от влаги загорается и можно прикурить

или разжечь костер. Иногда мы клапаны взрываем, бросаем в лужу и тело клапана заполняется водой. Он булькает, булькает, а потом и грохает, иногда два или три раза, только надо дальше отходить, иначе можно прожечь одежду. Был в училище воспитатель-военрук, фронтовой летчик демобилизованный. Стоим возле лужи и смотрим, как мечутся и горят крошки натрия по воде. Подходит военрук — что это такое? Объясняем — натрий из выхлопных клапанов авиационных двигателей, смотрит непонимающими глазами, видно не знает. Решаем на практике просветить. Бросаем головку клапана в воду, а сами отходим. Озабочены мы лишь тем отойдет ли военрук от лужи или нет? Нет, стоит и с любопытством смотрит, как из воды вместе с бульками выскакивают крошки натрия и загораются, мечась по водному полю. Но вот клапан грохнул, обдав военрука мутной и грязной водой. Летчик поворачивается, чтобы уйти, а клапан стреляет второй раз. «Летчик» бежал, а клапан ему вдогонку и третий раз громыхнул. Наш воспитатель уходит под улюлюканье и хохот своих воспитанников. Жестокие и бессердечные мы были. Неведомо было нам о фронтовой ускоренной подготовке всех и всея. Не нужно было знать летному составу основательные знания по двигателям внутреннего сгорания, зато мы «знали» их хорошо! А его пальто, перешитое из армейской шинели, прожжено в нескольких местах. Проучили незнайку, теперь будет знать авиадвигатель.

Обычно мы ходили оравой в 15—20 человек. И вот эта шайка с утра до вечера стаскивает в одну кучу все, что взрывается. Потом садимся, между ног втыкается в землю русский штык. Рядом каска и куча патронов, этого хватало и россыпью, и в цинках, и в лентах. Берешь патрон, вставляешь пулю в дульную втулку штыка и легким нажимом рук выламываешь пулю, а порох ссыпаешь в каску. Таким образом, наша банда собирает неплохой урожай пороха. Снаряды, мины минометные, мины противотанковые и просто толовые шашки сложены в огромную кучу и эта куча переложена горючими материалами от кизяка до обломков снарядных ящиков. В эту кучу и высыпается порох. Из пороха отсылается дорожка на несколько метров. И вот наступает самый торжественный момент в нашем дневном труде. Мы поджигаем дорожку. Огонек горящего пороха бежит в одну сторону, а мы убегаем в другую — в ближайшую балку. Теперь можно передохнуть и покурить, спокойно ждать взрыва, и он приходит, этот долгожданный взрыв. Взрыв «колоссальный», как мы его называем. Таким образом мы однажды взорвали танк. Он стоял без гусениц, но не горелый, на нем хорошо сохранилась краска. Ну его и загрузили

взрывчатыми предметами. Нам попались и выстрелы от пушек, мы конечно порох изъяли, это была большая удача. Порох был пластинами — круглые по диаметру гильзы с дыркой в центре. Порох немецкий, наверное. Наш, так он желтыми макаронинами и если поджечь такую трубочку, то он, сгорая, еще и летает со свистом. В общем, танк мы взорвали. Разлетелся вовсе стороны белого света, куда катки, куда куски брони.

Общага у нас в двухэтажном особняке. Верхний этаж жилой, нижний полуподвальный. Там подсобки и физзал, потолок сводчатый, что тут было до революции, я не знаю, историей не интересуюсь. Жилой этаж состоит из больших и малых комнат. В больших комнатах живут сельские смирные ученики, в малых живут буйные беспризорные. В нашей комнате семь человек: Большой, Зухра, Черный, Белка и я, еще двоих уже не помню, серенькие как мышки. Иногда, когда очень скучно, а воспитатели где-то на стороне, и мы предоставлены себе, пытаемся уговорить Большого на «Пупу». Забиваемся в одну комнату человек 20—25 и хором начинаем: «Пупа, пупа, пупа…», спустя время стекла в окнах начинают подрагивать и позвякивать в такт «Пупе». В какой-то одному ему понятный момент, Большой врывается пронзительным, высоким голосом:

— Сартал, Мартал, Картал!

А мы, не прерываясь, долбим и долбим свое: «Пупа, Пупа, Пупа…», а Большой на самой высокой ноте звонко и пронзительно:

— А Синевара!… А Синепупа!…

А мы свое: «Пупа, пупа, пупа».

И Большой заканчивает:

— Как бы этим пупачам… сосать по всем ночам!

Если это вечер, то мгновенно разбегаемся по койкам, но бывает, что и не успеваем. Врывается разъяренный воспитатель, но видит… абсолютно невинные морды и не к кому придраться! Вечер удался!

Каждый вечер прогулка строем по городу с песней. Идем чеканя шаг. После прогулки стоим во дворе в каре и поем гимн СССР. Ежедневный ритуал: прогулка с песней, гимн, перекличка, оправиться, отбой — армейская муштра! Надоело! Сотня глоток, хотя и пятнадцатилетних — это довольно-таки зычно получается. И вот однажды вечером, отбивая шаг по булыжной мостовой Московской улицы города Дубовки, хор мальчишек в полную силу своих легких грянул:

— Кони глупые, бьют залупами, разобьем по-сталински врага!…

— Отставить песню! Левое плечо вперед, марш, прямо!…

Больше нас в город с песней не выводили. Каре, гимн, перекличка и баи-баи! Но вот в один из вечеров сотня глоток рванула: «Союз нерушимый, голодных и вшивых сплотила на веки Великая Русь…», а дальше с великим упоением на мелодию гимна поем азбуку — А, Б, В, Г, Д, Е… Таким образом, мы избавились и от гимна и от строевой песни. Теперь проверка идет на местах по постелям, лафа! Но скоро стало скучно и захотелось пройти по городу с песней. Просим военрука на вечернюю прогулку, но увы… Так до самого выпуска нам и не пришлось пройти строем по городу.

Впервые с лесозащитной техникой я познакомился летом 1949-го года на практике. Нас из ремеслухи направили на Дубовскую Лесозащитную Станцию. Вот тут я впервые увидел трактора на резиновом ходу, с запуском двигателя от стартера. Красные «американцы» стояли в торжественном ряду, а сзади этого торжественного ряда «интернационалов» стояли наши «СТЗ/ХТЗ», «СТЗ-НАТИ», «ЧТЗ-Сталинец». Какие они казались убогие против «интернационалов». Нас распределили. Попал помощником к тете Тони, крепкой, широкой, румяной девице на «интернационале»:

— Какая я тебе тетя, племянничек хренов, просто Тоня, а можно и Тонечка, но это потом.

Мне 15, Тоне 18, но я то заморышь казенного харча, против ее домашнего.

— Рулить можешь? Ездил когда-нибудь на машине? За баранку держался?

Мне стыдно признаться, что никогда не рулил, поэтому я утвердительно качало головой: Ага. А сам думаю, ну что уж тут такого-то, видел ведь, как крутят руль шофера, ерунда какая!

— Садись за руль, смотри это сектор газа, это рычаг перемены передач, это фрикцион… — получаю краткий инструктаж к полученным прежде «навыкам вождения», — выжимай педаль фрикциона, втыкай скорость, и по-е-ха-ли!

Да мы поехали, и Тоня запела песню:

— Прокати нас Петруша на тракторе, до околицы нас прокати!…

Хорошо ей петь, а я верчу проклятый руль туда-сюда! А трактор упрямо лезет на то, что лежит не на дороге: то на забор, то на соседний трактор. Не успела Тоня допеть куплет, как трактор, взбрыкнув, бросился на столб. Машину мы остановить не успели, и пришлось нам с Тоней-Тонечкой снимать радиатор и, под матерщину инженера ЛЗС, тащить его в медницкую. Тоня запретила мне говорить и всю вину взяла на себя. Ее сняли с «интера» и перевели на «НАТИк», а меня

перевели в сажальщики. Но Тоня меня не забыла и через несколько дней уже в степи посадила за рычаги гусеничного «НАТИка». Спасибо тебе моя наставница Тетя Тоня, Тоня, Тоничка! Я в армии, сидя за рычагами САУ-154, вспоминал тебя. И сейчас, услышав песню про тракториста Петрушу, я вижу красный «интер», упрямо лезущий на столб, Тетю Тоню и рядом с ней мальчишку в форме учащегося «Трудовых Резервов».

О периоде моей учебы в Ремесленном Училище воспоминаний немало, но я хотел описать войну глазами мальчишки, война окончилась. Я немного перетянул время и прихватил чуть послевоенного, но все еще связанного с войной. Наверное, война останется с нами до нашего конца. Что значит мой опыт жизни тринадцатилетнего мальчишки для сегодняшнего тринадцатилетнего?

Поезд медленно с чуфырканьем подтягивается к перрону, лязг сцепок — поезд встал. Из вагонов посыпался народ и все с чайниками бегут к низкому кирпичному строению с надписью: «Кубова Кипяток». В те годы на каждой станции были такие кубовые и все едущие поездом имели непременным атрибутом чайник. А железные дороги практически все были одноколейные. Поэтому были станции, полустанки, разъезды, где стояли и ждали встречного поезда, и грузовые, и пассажирские. На этих разъездах поезда встречали немецкие самолеты, те бомбили и если повреждался путь, поезда ждали ремонтные бригады и на перегонах. Если при бомбежке кого-то убивало, то его хоронили тут же, недалеко от путей. Жизнь от полустанка до полустанка. Может ли понять эту жизнь нынешний тринадцатилетний мальчишка? Нет. Да ему и не надо. В той жизни надо было жить и их счастье, что у них другая жизнь.

Лето 1950-го. Нас выпускают в районные машинно-тракторные станции (ШТС) Сталинградской области. Конспекты, тетради — все летит в уборную. Уборная деревянная на 20 посадочных мест — в два ряда спина к спине. Кто-то бросил на бумагу спичку. Уборная сгорела! Честно служила два года. Прощальный салют от первого выпуска! Остался мокрый пол, дырка в яме и поджаренное дерьмо. Но и ему не дали покоя, кто-то бросил в яму гранату. По двору брызги и вонь. Хорошо-то как! Ну, прощай родное училище, мы хулиганили, а нам давали специальность и пытались заложить частичку добра в наши исковерканные души. Своего мастера Василия Михайловича Шалаева я помню всю жизнь. Я забыл всех преподавателей, воспитателей, а своего Михалыча помню! Любили мы его, любили искренне, бесхитростно по-мальчишески. Нарушали дисциплину, шкодничали, а он учил нас любить металл. Спасибо тебе

ДОРОГОЙ МОЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ!

День окончания битвы за Сталинград, а в памяти нет почти ничего. Идет концерт для ветеранов войны. В годы войны ходила песня:

Помню день последнего привала
И дымок походного костра.
Руку мне тогда забинтовала,
Славная военная сестра.

Слышал я эту песню, когда мне было лет 10—12, а вот после воины я никогда и нигде не слышал ее. И почему-то ветераны ее не помнят. Песня пропала, растворилась во времени. Она была распространена и популярна в свое время. Время ушло, ушла и песня. Нет того времени, нет тех песен. Остались песни, которые исполняли известные артисты кино, а песни народа забыты. А жаль! Без этих маленьких штришков и понятие того времени стало другим понятием. Нет его ощущения тревоги, нет его запахов, нет его звуков. Жаль своего детства голодного, вшивого, в лохмотьях, в крови, в тифозном бреду и смертях. И все-таки это было детство. Мое детство. Детство, искалеченное войной, под грохот канонады, кирпично-известковой пыли, с гарью тротила, пота и надежды.

Хочется надеяться, что когда-нибудь, через многолетие. Кто-нибудь прочтет эти мои воспоминания ради любопытства и задумается. Вот ведь, как это было в мальчишеском бытие в те годы. Эти записи я делал уже в зрелом возрасте, на склоне своего бытия, поэтому ощущения детские и воспоминания взрослого, естественно разнятся. Но, несмотря на это, мои воспоминания все же реальнее, чем придумки писателей родившихся спустя много лет после войны. Эпизоды моей жизни переплелись с рассказанными мне моими сверстниками в те годы и это тоже неотделимо от меня. Мы были тогда все как одно целое. Один сплав детей в войне.

Юрий Иванович Ивлиев. г. Волгоград.